

ГРАНИ

GRANI

114

1979

Verlagsort: Frankfurt/M, Oktober-Dezember

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev- Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее, ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды.

*Е. Романов
Грани № 1, 1946*

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXIV

№ 114

1979

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Борис ДЫШЛЕНКО — Антрну 5
Лия ВЛАДИМИРОВА — Из цикла „Москва, 1970-1971”.
Из поздних стихов 77

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- Григорий РЫСКИН — Педагогическая комедия. Записки
советского учителя. Окончание 84
Кирилл ХЕНКИН — Охотник вверх ногами 116

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- КЛАССИКА И МЫ. Сокращенный отчет о дискус-
сии в ЦДЛ 126
Эммануил РАЙС — О Борисе Поплавском 156

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

- Борис ИВАНОВ — Экзистенциализм?.. мимо 185
Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ — Наука, философия и идео-
логия 211

О РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

- В.В. ШУЛЬГИН — Годы. Воспоминания члена Госу-
дарственной Думы 251

БИБЛИОГРАФИЯ

- Вольфганг Казак. О повести Е.Терновского „Прием-
ное отделение” 276
Список книг, поступивших на отзыв 280
Содержание журнала с № 111/112 по 114 281

Обложка работы художника Н. Мишаткина

© 1979 by Possev-Verlag
V. Gorachek K.G., Frankfurt am Main
Издательство «Посев»

Борис ДЫШЛЕНКО

Антрну

Я вздрогнул, потому что у меня над головой заорал репродуктор.

— Внимание! — рявкнул голос так, как будто развернулась стальная пружина. — Внимание, внимание, слушать всем! Каждому, нашедшему труп...

Тут я второй раз вздрогнул, так как репродуктор произнес мое имя. Я очень удивился: репродуктор говорил, что каждый, нашедший мой труп, обязан сообщить об этом в соответствующие инстанции. Я не только удивился, но и испугался. А еще я возмутился: это была явная нелепость.

Тут какое-то недоразумение, — сказал я себе, — недоразумение и нелепость. Ведь я жив, — сказал я вслух и огляделся, но никого не было рядом со мной.

Тогда я стал громко возмущаться, повторяя, что это нелепость; а возможно, и злой умысел, чтобы как-нибудь меня скомпрометировать, хотя и прекрасно понимал, что никто особенно не заинтересован в том, чтобы меня компрометировать: ведь у меня нет врагов и никогда не было. Я живу сам по себе, абсолютно независим, ни у кого ничего не прошу; и даже одна знакомая говорила однажды моей жене, что у меня золотые руки. Вот

Из самиздатовского журнала „Часы” № 7, Ленинград.

уж действительно нелепость — сперва, „золотые руки” и вдруг — труп.

Нет, — сказал я громко и уверенно, — никакого трупа нет. Нет и не было. Я жив и сокрушу все козни... Я хотел сказать: „врагов”; но тут опять вспомнил, что у меня врагов нет, и сказал — противников.

„Это-то я сокрушу, — подумал я, — но жена?.. Ведь с ней от этого сообщения может такое случиться!.. Просто ужасное может случиться. Она может очень расстроиться. У нее и так-то слабые нервы, а теперь она и вообще может что-нибудь подумать — это не шутки”.

Надо поспешить предупредить жену, решил я, и поскорее успокоить, предупредить насчет этого трупа, что это все не так, что это нелепость, ерунда, что, наконец, вот же я. Итак, сначала предупредить, затем успокоить, затем поставить перед фактом, что вот же я — живой и здоровый. А после этого сходить в инстанции и там объяснить, что и как, чтобы ни у кого не возникало сомнений. Только надо узнать, где помещаются инстанции, а потом сходить.

И все это недоразумение разрешится. Надо еще сказать, чтобы сообщили по радио, что труп найден. Или вернее, что не труп, а недоразумение... или труп?

„А может быть, это мой однофамилец? — подумал я. — Или человек с такой же фамилией, как у меня? У меня довольно распространенная фамилия, — подумал я, — да что там! У меня просто очень распространенная фамилия, — с гордостью подумал я, — это мне здорово повезло, что у меня такая фамилия: с такой фамилией не пропадешь”.

Так я решил и пошел предупреждать жену, чтобы не беспокоилась, потому что труп — не мой, а

какого-то другого однофамильца, потому что их у меня много, так что нет причин волноваться.

Я пошел по четвертой Стипендиатской, от угла, где стоял, но успел дойти только до следующего угла и остановился, чтобы дать дорогу десанникам, которые пересекали улицу, выйдя с проспекта Торжества ретирады. Они маршировали. Их было всего человек шесть, но маршировали они громко и в ногу, а командовал Шпацкий.

Я люблю, когда солдаты маршируют: смотришь на них и чувствуешь, что все в порядке, чувствуешь себя в безопасности.

Я остановился, чтобы дать им пройти, и в этот момент Шпацкий заметил меня.

— Сто-о-ой! — радостно заорал Шпацкий. — Стой, вам говорят, ослы проклятые. Вы что, не видите? Вам говорят, остолопы!

Те еще два раза грохнули на месте и остановились. Я удивился: какая у них дисциплина! А Шпацкий поманил меня пальцем, и я подошел.

— Привет, — сказал Шпацкий, глядя на меня сверху вниз, потому что он был выше меня ростом, — привет. Что ты здесь делаешь?

Я хотел сказать что-нибудь, что, мол, гуляю, или иду в мебельный магазин, но Шпацкий перебил меня.

— Твоя рожа кажется мне знакомой, приятель, — сказал Шпацкий, — ну-ка повернись так и сяк.

Я повертел головой, а Шпацкий посмотрел на меня с разных сторон.

— Точно, — сказал Шпацкий, осмотрев меня с разных сторон, — он здорово напоминает одного типа. А, ребята?

Он обернулся к десанникам. Там стоял один длинный, Понтила (я его знаю), он кивнул.

— А кого же это он нам напоминает? — обратился

Шпацкий к военным с таким видом, как будто это ему и в самом деле неизвестно. — А ну предъяви паспорт! — гаркнул Шпацкий так, что я вздрогнул.

„Что с ним спорить?“ — подумал я, и отдал ему паспорт, а он буквально вырвал его из моей руки.

— А ну-ка еще повернись, — сказал мне Шпацкий, — повернись туда и сюда, а мы посмотрим.

Я опять стал вертеть головой в разные стороны, а Шпацкий сравнивал меня с паспортом.

— Да не вертись ты, вошь! — прикрикнул на меня Шпацкий. — Стой смирно.

— Так и есть, ребята, — сказал Шпацкий, — мне все ясно: этот тип, — он ткнул мне паспортом прямо в лицо, но я успел отшатнуться, — этот тип пристукнул того парня и взял себе его паспорт.

— Какого парня? — сказал я, еще не понимая хорошенько, в чем дело, но уже чувствуя, что тут что-то не так. — Тут что-то не так, — сказал я, — про какого парня ты говоришь? Я ничего не понимаю.

— Посмотрите на него! — возмущенно закричал Шпацкий. — Он не понимает! Вы только посмотрите на него! Да он святой, парни: у него нимб вокруг головы. Вы посмотрите: он светится, парни!

Десантники смотрели на меня и ухмылялись, а Шпацкий перекрестился.

— погоди, — сказал я, — ты что?.. Я же... Все-таки мы же с тобой школьные товарищи... можно сказать, одноклассники... Ну, мало ли что там было в школе... Все-таки дружба...

— Какая дружба? Ты что, ошалел? Ну и наглый тип! Ребята, что же это делается на белом свете? Этот прохвост убивает моего школьного друга... ну, друга не друга, но все-таки, а теперь мне же пытаются втереть какую-то труху. Ну какова наглость!

Десантники мрачно загалдели, а до меня, наконец, дошло, в чем меня обвиняют.

„Неужели он думает?..” — подумал я, но остального я даже подумать не посмел.

— Шпацкий, — взмолился я, — да ты подумай хорошенько, да разве ты меня плохо знаешь? Да неужели ты в самом деле думаешь, что я способен...

— Ты?! — Шпацкий даже щелкнул зубами от ярости. — Да кто тебе сказал, что ты это ты?

— Мне дело ясно, ребята, — решительно сказал Шпацкий, обращаясь к десанникам, — этот гад убил человека и воспользовался его паспортом.

— Да постой! — в отчаянье закричал я ему. — Ты посмотри хорошенько в паспорт: ведь это же я. Ты посмотри: ведь это моя фотокарточка.

— Вот-вот, я и говорю, — подтвердил Шпацкий, — воспользовался внешним сходством и думал: сойдет. Не-е-ет, кого-кого, а Шпацкого тебе не провести.

— Да нет же, — сказал я, — я и не думал тебя проводить. Поверь, я никого не убивал, а что похож, так только от того, что это мой паспорт.

— Да-да, — иронически покивал головой Шпацкий, — конечно, ты никого не убивал, и паспорт этот твой. Только уж очень складно у тебя все получается. Уж очень правдоподобно, как-то так, что все концы сходятся.

— Запомните, ребята, — сказал Шпацкий, обращаясь к своим, — ложь всегда выглядит очень правдоподобно, ложь всегда выглядит убедительно. А почему? — спросил Шпацкий.

Десантники, разинув рты, молчали.

— Да потому, дурачье, — ответил Шпацкий на свой вопрос, — потому что ложь всегда рядится в личину правды. Потому, что преступник всегда сумеет так подтасовать факты, что в них комар носу не подто-

чит. Правда же не нуждается в том, чтобы комары совали в нее свой нос. Вот почему, — заключил Шпацкий, — всякую вещь, внешне похожую на правду, следует тщательно проверять.

Его речь произвела на всех (и на меня в том числе) большое впечатление, и я готов был бы с ним согласиться, если бы не был уверен в том, что он ошибается.

— Я тебя очень понимаю, — сказал я, — я, может быть, понимаю тебя как никто, но уверяю тебя, что в моем случае ты ошибаешься.

— Ага, — язвительно сказал Шпацкий, — я ошибаюсь, пресса ошибается, один он не ошибается.

— Да что с ним разговаривать, хватай его за горло: от этих вралей последнее время совсем житья не стало, — вмешался огромный Понтила, он подскочил ко мне и, схватив за шиворот, дернул вверх, а потом вниз, так что я наткнулся затылком на его железный кулак.

— Смирно! — заорал на него Шпацкий. — Не разговаривать, не для того я читал вам лекцию, идиотам, чтобы вы меня учили.

— Ладно, — сказал он мне, — раз уж ты так настаиваешь на очной ставке, устроим тебе очную ставку. Пошли.

Я не настаивал на очной ставке, тем более, что не знал, с кем они хотят мне ее устроить, но подумал, что уж лучше очная ставка, чем такая неопределенность, и поэтому пошел. Вернее, не только поэтому, но еще и потому, что Понтила тащил меня за шиворот, но в общем-то я рассчитывал, что очная ставка что-нибудь прояснит.

Мы прошли несколько улиц и несколько раз повернули (все почему-то получалось буквой Г), и все время пока мы шли, прохожие оглядывались на нас и некоторые показывали пальцами, а один

так даже все время шел параллельно по тротуару, делая вид, что ему все равно и он сам по себе, но он почему-то исподтишка подмигивал мне, а потом так распоясался и обнаглел, что стал забегать вперед, снимать шляпу и делать неприличные знаки; но тут Шпацкий прикрикнул на него, чтобы убрался, и он отстал.

Тут я заметил, что мы недалеко от моего дома, и я подумал, что вот было бы хорошо, если бы они вместо очной ставки отвели меня домой. Жена подтвердила бы им, что это я, и они бы оставили меня, наконец, в покое, потому что, по совести говоря, хоть все это недоразумение длилось и не очень долго, я все-таки страшно устал; а уж там с женой я бы как-нибудь все уладил; и я ужасно обрадовался, когда так и получилось. Я только на лестнице спросил: нельзя ли, чтобы Понтила не держал меня за шиворот, потому что мне это очень неудобно перед женой.

— Ладно, оставь, — сказал Шпацкий Понтиле, — оставь, не держи его: не убежит.

И Понтила нехотя отпустил мой воротник.

— Ну, открывай, — приказал мне Шпацкий, когда мы поднялись по лестнице на мой этаж, — открывай же, что ты стоишь?

Я достал ключи и стал открывать дверь, а Шпацкий при этом пробормотал: „И ключи у него... Вон что задумал: просто волосы дыбом встают”. Я подумал: „Пускай болтает, что хочет: все равно сейчас докажу, что я это я”.

Я открыл дверь, и вся ватага ввалилась за мной в коридор. Шпацкий цыкнул на них, чтобы они не особенно шумели, и мы пошли; по пути, правда, одна соседка из любопытства высунулась в дверь, но Понтила гаркнул на нее, и она спряталась. Я подумал, что это только лучше, чтобы соседи не зна-

ли. Шпацкий постучался, и мы вошли. Жена что-то высматривала из окна, когда мы вошли. Когда мы вошли, она обернулась и с недоумением посмотрела на нас, на нас всех, и не только на меня, на меня — между прочим: она здорово умеет владеть собой, меня всегда это восхищало.

Мы вошли; сначала Шпацкий, потом я, а за мной Понтила. Шпацкий ловко щелкнул каблучками и поклонился, он умеет быть вежливым, когда захочет. Жена сдержанно и с достоинством улыбнулась.

— Мадам, — вежливо сказал Шпацкий, — мы привели этого человека к вам для очной ставки. Вам знаком этот субъект?

Жена внимательно посмотрела на меня, при этом ее красивые серые глаза не выразили никакого чувства: она прекрасно держалась. Она долго смотрела на меня, потом перевела глаза на Шпацкого и сказала: „Я ничего не утверждаю, но этот человек очень похож на моего мужа. Я бы даже сказала: похож как две капли воды”. Она как всегда продумывала каждое свое слово и отвечала осторожно и дипломатично. Так, конечно, и надо, когда разговариваешь с чужими людьми, но я подумал, что лучше бы на этот раз она была менее осторожна, потому что чрезмерная осторожность тоже может повредить. Увы, так и вышло. Я споткнулся и чуть не упал, потому что Понтила дал мне подзатыльник.

— Будьте мужественны, мадам, — сказал Шпацкий, — соберитесь с силами для того, чтобы услышать печальную весть. Я сообщу вам ужасную тайну, мадам: перед вами убийца вашего несчастного мужа.

Жена слабо вскрикнула и оперлась о подоконник.

— Крепитесь, мадам, — сказал Шпацкий, — я вместе с вами скорблю о смерти вашего мужа и моего

лучшего школьного друга: ведь покойный был моим одноклассником, мадам. Я знаю, ваше благородное сердце чуждо всяких мыслей и помыслов о мести, и, поверьте, не о мести, о нет, не о мести я говорю вам, мадам! Но я надеюсь, что вера в справедливую кару, которая настигнет преступника за его беспримерное злодеяние, да, я надеюсь, мадам, что вера в справедливость поддержит вас в эту глубоко скорбную для всех нас минуту и послужит вам хотя бы слабым утешением в вашем несчастье.

Я наконец пришел в себя.

— Как тебе не стыдно! — закричал я Шпацкому. — Как ты смеешь? Я вовсе не покойник. Ведь это же я! — в отчаянье закричал я жене. — Неужели ты не узнаешь меня? Вспомни: ведь еще недавно ты дарила мне ласки.

Жена внезапно покраснела.

— А тебе не стыдно? — гневно спросила она. — Тебе не стыдно выносить сор из избы?

Я смирился. Я опустил голову. Я знал, что моя жена никогда не верила мне, но и никогда не думал, что ее недоверие пойдет так далеко.

„Ну что ж, — подумал я, — я не буду выносить сор из избы, тем более, что мне это и не поможет”.

Я в последний раз посмотрел на нашу комнату: на китайскую вазу, на большой цветок в углу, на рояль, на котором я часто играл жене классику — она вообще любит классику и не выносит ничего другого, — я посмотрел на все это, на то, что еще в первые месяцы нашей семейной жизни так заботливо и при активной помощи своей жены я устраивал; я окинул все это прощальным взором и хотел окинуть еще раз, но Понтила не дал мне этого сделать: он взял меня за шиворот и встряхнул.

— Ну вот, — со сдержанной яростью сказал Понтила и, немного проведя меня, дал мне коленкой

пинка в зад, не то чтобы так уж сильно — я даже не полетел вперед, а только слегка качнулся; но все же это было очень неприятно, и мне было стыдно перед моей женой. Тут же подскочил еще один, небольшой, но, видимо, очень сильный; он взял меня за локоть и так сжал, что я встал на цыпочки. Но это было уже в коридоре. Мы вышли на лестницу. Тут Понтила снова дал мне пинка, и я едва удержался за перила.

— Что хватаешься, гад? — сказал Понтила. — Шкуру свою бережешь, ублюдок?

— Оставь его, — сказал Шпацкий. — Оставь. Не пачкайся.

Уже на улице он, с презрением взглянув на меня, сказал мне: „Достукался, отщепенец проклятый?”

И с внезапной злостью от ткнул меня кулаком в губу. Не ударил — только ткнул, но мне стало очень горько: всегда горько чувствовать презрение окружающих, а тем более, что я понимал, как мало я это заслужил.

Мы шли в неизвестном направлении, а в конце улицы, на краю безоблачного неба, солнце садилось на крышу невысокого дома, и впереди зашагавших десантников длинные тени влеклись по мостовой и бились головами о булыжник; и когда мы начинали догонять их, мне каждый раз было странно наступать на них, как будто это были живые люди; я пытался укоротить шаг, и сразу же Понтила дергал меня вперед и с ненавистью говорил: „Еще упирается — скотина!” Я спотыкался, и тогда другой, маленький, поддегивал мой локоть кверху и сильно сжимал его, так что я каждый раз охал от боли. Шпацкий шагал рядом с каменным лицом и с таким видом, как будто я на самом деле оскорбил его. Может быть, я действительно чем-нибудь оскорбил его, но я был почти уверен, что нет, и как бы

там ни было, но в любом случае ему не стоило так себя вести: это все-таки неблагородно. Мы повернули, и тени теперь упали направо, и за следующим поворотом были уже впереди нас и наконец взбежали головами по ступенькам и выросли над нами на стене.

— Стой, — сказал Шпацкий и загрохотал прикладом автомата в железную, крашенную голубой краской дверь, и в ответ на его стук рядом с дверью открылось маленькое окошко; в нем показалось лицо серьезного человека в очках.

— Что вам нужно, головорезы? — спросил человек в очках.

„Вот уж действительно головорезы”, — подумал я.

— Открой, — сказал Шпацкий и, приблизившись к окошку, что-то тихо зашептал тому в подставленное ухо.

— Ага, ясно, — сказал тот, — сейчас нет, но я открою.

Он исчез и скоро чем-то залязгал там, за дверью. Вероятно, отпирал, потому что дверь медленно отворилась, и он сам появился в проеме, лысый, в очках, с желтым железнодорожным флажком в руке.

— Проходите, — сказал он индифферентно. И добавил, обращаясь к Шпацкому: — Только я сказал: сегодня не будет.

— Терпит, — ответил Шпацкий, и мы вошли. Вернее, они вошли, а я влетел, потому что Понтила опять дал мне пинка.

Зато он, наконец, отпустил мой воротник.

Мы оказались в просторном помещении, похожем на прихожую, только на окнах были решетки, как в тюрьме. Я в тюрьме никогда не был, но ведь каждому известно, что там бывают решетки. Здесь

они были, и я сразу подумал, что, наверное, это тюрьма. Дальше шел длинный коридор, но он был отделен от прихожей решеткой, и это укрепило мои подозрения насчет тюрьмы; но я ничего не стал спрашивать, опасаясь опять нарваться на какую-нибудь грубость со стороны Понтилы.

„Да, это, наверно тюрьма, — подумал я, — они, наверно, привели меня в тюрьму”.

Жена часто говорила мне, что мое место — в тюрьме, но я никогда не верил ей: я думал, что она говорила это в сердцах и больше для того, чтобы отомстить за какой-нибудь мой поступок; а теперь я подумал, что она как в воду смотрела.

Пока я рассматривал помещение, Шпацкий дал лысому бумагу, и тот прочитал ее. Потом он посмотрел на меня и с сомнением покачал головой.

— Что-то мне не верится, ребята, — сказал он, покачивая головой, — ой, ребятки, что-то мне не верится. Сдается мне, что вы тут что-то напутали.

— Конечно, напутали, — с надеждой встрепенулся я, но тут же мне пришлось замолчать, так как моя голова качнулась влево, а потом вправо от двух ударов, одного в правое и другого в левое ухо: это опять были гнусный Понтила и его помощник, низкорослый крепыш. Я замолчал, а Шпацкий, наклонившись к лысому, что-то горячо зашептал ему на ухо.

— Дело ваше, — холодно сказал лысый, — мест много, мне не жалко.

— Ну так ты пиши, — сказал ему Шпацкий, — пиши скорей; нам уже порядком надоело все это.

(Можно представить, как *мне* все это надоело!)

Пока лысый писал, никто меня больше не трогал: все стояли молча и ждали. Просто стояли и ждали. Потом Шпацкий тронул меня за рукав и кивнул головой в сторону коридора. Я пошел. Понтила уже

разогнулся, чтобы дать мне пинка, но на этот раз я успел проскочить, а его в коридор не пустили.

— Мы с тобой еще поговорим! — крикнул мне вдогонку Понтила.

По коридору одна за другой шли двери с небольшими закрытыми окошечками на них, но ни из одной из них не доносилось ни звука.

— Ты уже догадался, куда ты попал? — спросил меня Шпацкий, идя рядом со мной по коридору.

Я предположил, что это тюрьма.

— Почти, — подтвердил Шпацкий, — во всяком случае вроде тюрьмы.

Мы остановились возле одной из дверей.

— Вот камера, — сказал лысый, — камера на двоих, как полагается: мы не держим людей в одиночках.

Правда, в камере было две кровати, не то чтоб в полном смысле кровати, скорее, две широких деревянных скамейки, одна напротив другой. Они были застелены коричневыми байковыми одеялами, а под одеялами были матрасы, две черные подушки без наволочек лежали поверх одеял: все было аккуратно.

— В общем, устраивайся, — сказал мне Шпацкий, — устраивайся, как можешь. В конце концов каждый устраивается, как может, — сказал мне Шпацкий, — все остальное — всего лишь громкие слова.

Это, конечно, было справедливо, и я хотел сказать ему об этом, но он повернулся и вышел. Лысый ничего не добавил и тоже вышел. Я услышал, как он запирает дверь, а потом я остался один. Как это ни странно, но я почувствовал облегчение. Я облегченно вздохнул: все-таки на какое-то время я был избавлен от агрессивного общества людей, ко-

торые, если быть вполне откровенным, были мне не особенно приятны.

Оставшись один, я прежде всего решил как следует все осмотреть. Камера представляла собой сравнительно небольшую комнату: около пяти шагов в длину и четыре шага в ширину. Дверь была металлическая, крашенная серой краской, и примерно на уровне моей груди имела окошечко с небольшой полочкой и решеткой; со стороны коридора была ставенка, а в ней глазок, который был закрыт, уж совсем с той стороны. Напротив двери находилось окно, которое куда-то выходило, может быть, на улицу или во двор: этого точно было не определить, во-первых, потому, что оно было слишком высоко, то есть до него можно было бы дотянуться руками, если встать ногами на кровать, а потом чуть-чуть податься вбок и схватиться за решетку; тогда можно было бы, подтянувшись, заглянуть в окно; во-вторых, все равно там было ничего не увидеть, так как оно снаружи, с той стороны, тоже было закрыто, вернее, не то чтобы закрыто, то есть не закрыто наглухо, а скорее прикрыто каким-то деревянным кожухом (такая дощатая штука, которая на ту сторону уходила домиком от окна), так что не то чтобы посмотреть, а даже свет мог проникать исключительно снизу. Но сейчас он не проникал, оттого что на улице в это время было уже, наверное, темно, и камера сейчас освещалась электрической лампочкой, на мой взгляд, слишком яркой, и эта лампочка была прикреплена прямо к потолку и забрана металлической сеткой, вероятно, для того, чтобы ее кто-нибудь не разбил. Что касается кроватей, то я их уже описал. На правой стене была еще белая эмалированная раковина, а над ней кран, к левой стенке был приделан столик, небольшой, и такой, чтобы можно было поесть; сте-

ны же были ни белыми, ни серыми, а просто отштукатуренными. Я еще на всякий случай заглянул под кровать и нашел там белое, цилиндрической формы ведро с крышкой: я понял, что это, наверное, вместо горшка.

„Вот как в тюрьме, — подумал я. — Как в крепости, где все на случай осады должно быть под рукой. Это для того, чтобы никуда не выходить и не беспокоить тюремщика. Ну что ж, это и мне удобней, потому что мне тоже не хочется его видеть, хоть он, кажется, и лучше тех”.

Я сел и хотел думать о своей печальной судьбе, но в это время в конце коридора послышался шум и какие-то голоса. Я прислушался и уже не мог думать о судьбе, потому что шум приближался.

Шум приближался, но это был не только шум, но еще и грохот; будто оттуда катился какой-то огромный пустой шар, и еще какие-то голоса, или выкрики, а другой (это голос тюремщика) как будто увещевал, потом я стал различать отдельные крики, которые мне очень не понравились, так как показались мне угрожающими, и я узнал голос Понтилы: видимо, Понтила все-таки прорвался.

— Пусти! — орал Понтила. — Пустите меня: я ему покажу кузькину мать! И я ему еще кое-что покажу, я ему такое покажу!.. Я ему покажу, где раки зимуют — вот что я ему покажу. Пусть знает, скотина. Я его так измордую! — заорал Понтила совсем громко и грохнул кованым сапогом в дверь. — А ну открывай, скотина! Ты что там заперся? Я тебя отучу... я из тебя выбью... А ну пустите меня, мерзавцы! — И Понтила снова загрохотал сапогами в дверь.

Я забрался на кровать и забился в самый угол, я сжался и, если сказать по правде, дрожал от страха; этот Понтила был такой здоровенный. Конечно, он

мог бы меня избить до потери сознания. А если бы он еще стал бить меня ногами — от такого хама всего можно ожидать — я просто не знаю, что бы тогда было. „Только бы дверь выдержала, — думал я, — она, конечно, железная дверь, — думал я, — но вдруг, не выдержит? Здесь даже нет ничего такого, чем бы я мог защититься. Да и разве защитишься? Ведь у него еще и автомат”.

Так я думал, вздрагивая от каждого удара в дверь, а за дверью все продолжался грохот и крик, и при этом Понтила ругался ужасными словами, потом его крик перешел в какое-то мычанье, как будто его душили, потом еще раз прорвался ужасной руганью, а потом все стали удаляться, но еще некоторое время слышалось тихое бормотанье старичка, моего тюремщика, и, наконец, все стихло. Я перевел дух.

А потом мне стало обидно.

„За что он меня так ненавидит? — подумал я. — Ну хорошо, пусть я их всех как-нибудь там не устраиваю, но за что же именно Понтила меня так ненавидит? Как будто я ему сделал что-то плохое?..”

Я решительно этого не понимал. Нет, я могу понять разные чувства и даже понять неприязнь ко мне. То есть, вот я могу понять, например, неприязнь Шпацкого: он всегда меня недолюбливал, я никогда не мог понять, за что он недолюбливал: бывают же необъяснимые вещи, но со Шпацким это одно дело, а что касается Понтилы, то тут я никак не мог понять.

Со Шпацким мы вместе учились в школе, он хотел стать десантником, он и тогда уже проявлял большие способности. Я тоже хотел стать десантником (кто же этого не хочет?), но мне запретили, а Шпацкий за это называл меня воображалой. Ну лад-

но, Шпацкий — это я еще могу понять: это старые дела. Что же касается Понтилы... Ведь он с нами никогда не учился: он вообще откуда-то с юга. За что же он меня так ненавидит?

„Вот разве что оттого, что у него такой южный темперамент? — подумал я. — Может быть, оттого, — подумал я, — да, — решил я, — наверное, оттого, что у него южный темперамент. Это, конечно, многое может объяснить, но мне от этого, в сущности, не легче”.

Я долго не мог успокоиться. Я все время вздрагивал: мне все казалось, что в конце коридора опять начинается шум, но каждый раз оказывалось, что это ложная тревога. Просто мои нервы были напряжены. Как говорится, были напряжены до предела.

Так я долго сидел на корточках в своем углу, не решаясь ни встать с кровати, ни даже сесть поудобней: я все еще не был уверен в том, что Понтила не прорвется снова — и мало ли... на этот раз?.. Поэтому я так и сидел на корточках, пока дрожь в коленках не заставила меня сесть по-человечески. И как только я сел по-человечески, я сразу почувствовал такую усталость, что даже удивился, как это я до сих пор держался на ногах, или на корточках, что, в принципе, не легче. Теперь все мое тело обмякло, и голова была тяжелой, как с похмелья. (Я хоть и не пью, но несколько раз в своей жизни все же чувствовал похмелье, так что знаю, как это бывает.) И вот теперь я чувствовал себя, как с похмелья. Я был почти счастлив, что на какое-то время все кончилось, и я сейчас лягу и засну. Но стоило мне лечь, сонливость как рукой сняло: нахлынули, ну прямо волной, всевозможные мысли об аресте и о том, что никак не было связано с арестом.

События сегодняшнего дня были для меня на-

столько неожиданны, развивались так бурно, что я до сих пор не имел времени подумать, а я каждый день привык думать, потому что я вообще люблю о чем-нибудь подумать — так, вообще, на разные темы, не обязательно о чем-то философском или глубоком, и не то чтобы я занимался решением каких-то там вопросов, или проблем, но я люблю подумать о том, о сем, и не в практическом смысле, а просто так. А теперь, когда я лег, всевозможные мысли, независимо от меня и даже помимо моей воли, так и хлынули на меня волной.

Я сначала подумал, что, может быть, это глухонемые подменили мой паспорт, когда они показывали мне свои фокусы (мне однажды глухонемые показывали фокусы), но я понял, что это абсолютно невозможно, и не только потому, что глухонемые неспособны были на такую низость по отношению ко мне, но и потому, что с тех пор прошел уже целый год, а за это время мне не раз приходилось предъявлять свой паспорт, и, наконец, потому, что паспортные данные, включая серию и номер, были те же, что и раньше, так что глухонемые ни в чем не были виноваты. И мне стало стыдно, что я на них погрешил.

Потом я стал думать о том, как там теперь будет моя жена, и каково ей там без меня, и при этом в уверенности, что меня нет в живых; потом я подумал о том, для чего она была так осторожна, — но я не мог сосредоточиться на этом предмете, во-первых, потому, что я об этом уже думал и ничего понять тогда не смог, а теперь все равно ничего не прибавилось, а во-вторых, потому что я уже вообще ни на чем сосредоточиться не мог; мои мысли перескакивали с одного предмета на другой, и эти предметы были совершенно незначительны, так что теперь я уже не могу как следует припомнить, о чем

я в этот момент думал. Помню только, что напоследок я стал думать о войне, и думал о том, как бы я там был, на войне, и я стал представлять себя на войне, потому что я хоть не военный, и даже напротив, совершенно мирный человек, но иногда люблю представить себя в бою, как будто я человек решительный и храбрый. Я и на самом деле не трус, просто у меня очень мирный характер.

Но я от этих мыслей не заснул; и тогда попытался вспомнить, как я играл жене на рояле классику, но это было трудно вспомнить без рояля: жена почему-то легко вспомнилась, а рояль — нет. А потом у меня в голове почему-то стала прыгать одна и та же фраза: „с облака на крышу”, и эта фраза, в сущности, ничего для меня не значила, а почему она появилась, не знаю, но эта фраза было последнее, что я помнил: я потом так с ней и проснулся.

Я спал долго и, по-видимому, очень крепко, и никто меня не будил. Когда я проснулся, лампочка снова горела, и я не мог понять: день сейчас или ночь. Возможно, это был день, но никаких звуков снаружи в камеру не доносилось.

Я проснулся и подумал, что вот „с облака на крышу”, и тут же сообразил, что это какая-то ерунда. Я так и сказал: „Ерунда”. А потом вспомнил, что повторял эту фразу перед сном, и понял, откуда она ко мне пришла. Тогда я еще раз повторил, что это ерунда, и решил об этом не думать.

Я сел на кровати и осмотрелся: ничего нового для себя я не увидел. Все то же: серые стены, потолок, лампочка в сетке, умывальник, дверь. Я чувствовал себя усталым и разбитым. Я встал и умылся. Холодная вода немного освежила меня, и я стал в ожидании завтрака (или обеда, а может быть, ужина) прогуливаться по камере. Я не очень хотел

есть, но с нетерпением ждал, когда мне принесут по-есть, так как хотел подумать после еды о своем положении и не хотел, чтобы меня прерывали.

„Лучше я сначала поем, — думал я, — а потом подумаю как следует, подумаю спокойно, чтобы никто не мешал, обдумаю все как надо и приду к каким-нибудь выводам”.

И я стал ходить по камере вперед-назад, вперед-назад, как маятник или как тигр в клетке, да, наверное, как тигр в клетке; и все ходил и ходил, и совершенно забыл про обед, и проходил часа три или даже четыре, и за это время понял, что, наверное, мне необходимо отходить в день сколько-то километров. Раньше ходил и не замечал, а иногда так даже уставал и бывал недоволен, а теперь понял, что это, оказывается, необходимо. Я думаю, что если бы еще посидел в тюрьме, то, вероятно, я бы еще что-нибудь понял. Да, тюрьма тоже имеет свои преимущества. Но это я думал в общем-то иронически, потому что на самом деле мне, конечно, приятней было бы находиться на свободе, а не в тюрьме. Да, на самом деле мне было очень грустно, настолько грустно и одиноко, что я, наконец, не выдержал. В ужасной тоске я сел на кровать и воскликнул:

— Ну почему так получается?

„Ну почему так получается, — думал я, — что со мной постоянно происходят всякие истории? Почему вся моя жизнь состоит из самых невероятных и неприятных приключений? Это просто какое-то несчастье, — подумал я, — наваждение. Конечно, с одной стороны, это даже интересно, — думал я, — ведь не с каждым человеком такое случается, и в этом даже есть романтика, — я вообще-то люблю романтику; если рассказать кому-нибудь историю о том, как меня однажды обстреляли (в моей жиз-

ни была такая история), то этому просто никто не поверит, потому что эта история прямо-таки фантастична. Вот какие со мной происходят истории. Я это к тому, что все это могло бы быть очень интересно, то есть об этом, скажем, можно было бы написать занимательный роман, да и вообще неплохо было бы вспоминать на досуге: сидеть у огня и вспоминать, курить трубку и рассказывать жене, чтобы она слушала и смотрела бы на меня с восхищением, как она тогда смотрела на того — джиуджиски, а этот джиуджиски бессовестно врал. И тем не менее она ему верила, а мне она бы ни за что не поверила, да и не верила никогда. А почему?

— Нет, — сказал я себе, — надо разобраться в этом. Наверное, она верила этому джиуджиски, потому что она его любила. Она сама мне об этом сказала: она всегда говорит только правду и ненавидит всякую ложь. Если бы она поняла, что джиуджиски лжет, она бы его возненавидела.

— Нет! — воскликнул я. — Она бы его не возненавидела, потому что он недостоин ненависти, она бы его презирала. Да, она бы его презирала, — повторил я почти с наслаждением, — она бы плюнула ему в лицо. Но почему же она поверила ему? — удивился я. — Почему она приняла за чистую монету такую примитивную ложь? — Я поник головой. — Потому, — горько сказал я себе, — что она его любила, а любовь прощает все, любовь — великая сила.

Я некоторое время ни о чем не думал, а потом стал думать дальше.

„Да, она его любила, — думал я, — но когда же она его успела полюбить? Ведь она видела его тогда в первый раз. А с первого взгляда, — ответил я сам себе, — с первого взгляда бывает самая сильная любовь. Если с первого взгляда, то она, конечно, уже не могла критически относиться к его словам, — я

еще раз поник головой. — А меня она ненавидела, и поэтому все, что бы я ей ни рассказал, она принимала за ложь. Правда, ее нельзя за это так уже строго судить: ведь мои приключения, действительно, уж очень неправдоподобны. Ну, например, кому придет в голову такая дичь, как отдавать в химчистку детей. Естественно, что она не могла поверить в такую ужасную действительность. Неправдоподобно? — спросил я. — А вспомни, что говорил Шпацкий о правдоподобности? Он говорил: „Ложь всегда выглядит очень правдоподобно, ложь всегда выглядит убедительно... потому что она рядится в личину правды”. Да, этот Шпацкий умен и образован, — он изучил виктимологию и всякие другие науки, но все-таки он зря так обращался со мной: такое можно было бы простить грубому Понтиле, но не ему — и как раз потому, что он образован и умен. И он, конечно, был прав, когда говорил о правдоподобности, но, с другой стороны, и я был прав, я не знаю, в чем, но прав. Вот опять фантастическая ситуация, — сказал я себе, — я говорю правду — и она правдоподобна, так что получается одновременно и правда и ложь”.

„Как это все сложно, — подумал я, — но жизнь вообще сложна. Сложна и прекрасна”, — и тут же подумал, что это не пустые слова, потому что я в самом деле люблю жизнь — даже такой, какова она есть, даже в разлуке с женой, даже здесь.

И так любя жизнь, разве я мог бы убить человека, особенно однофамильца?! Не-е-ет! Не мог бы. И они знают, что не мог бы. Я не мог бы, поэтому-то они и думают, что это не я.

И тем не менее горько, что они так обращаются со мной, и особенно при жене: и за шиворот, и пинки в зад; и, пожалуй, единственное утешение, что она думает, что это не я.

Действительно, если бы она узнала, что это я, она с презрением отвернулась бы от меня, потому что я был жалок и смешон. Нельзя быть смешным в присутствии любимой женщины, не надо питать ее ненависть — пусть уж лучше думает, что это был не я. А еще лучше было бы, если бы она подумала, что это тот, джиу-джиски, жаль, что я не похож на него. Я не понимаю, почему жена полюбила его. Что она в нем нашла? Разве что из ненависти ко мне?.. Мне горько это сознавать, но иногда мне казалось, что жена так ненавидит меня, что если бы я стал умирать, то она привела бы с улицы первого попавшегося мужчину и отдалась бы ему у меня на глазах только для того, чтобы отравить мои последние минуты”.

Я устал от этих мыслей, и хотя свет еще не погас, я решил лечь спать, чтобы ни о чем не думать. Однако мне опять не удавалось заснуть: мои мысли все вертелись вокруг взаимоотношений с женой, и я никак не мог освободиться от них.

„Хоть бы, наконец, кто-нибудь пришел и что-нибудь прояснилось бы в моем положении, — подумал я, — или принесли бы поесть. Не собираются же они уморить меня голодом здесь?”

Тихое хихиканье послышалось за закрытой дверью.

„Что там?” — с испугом подумал я и сел на кровати.

— Хи-хи-хи, — тихонечко слышалось за дверью, — хи-хи-хи.

— Эй, кто там? — полушепотом спросил я. — Может быть, что-нибудь надо?

Но там не отвечали. Только тихонечко хихикали, как будто скрывались от меня, или прикрывали рот рукой.

— Эй, кто там, который час? — тихо спросил я. Ничего — только хихиканье.

— Эй, вы не принесете мне чего-нибудь поесть? Я очень голоден, я, видите ли, не ел со вчерашнего дня. Вы, наверное, забыли, а я очень хочу есть: ведь мне, наверное, полагается какой-нибудь обед или ужин?

Но мне никто на мой вопрос не ответил: только тихое хихиканье по-прежнему доносилось из-за двери.

„Чего он там? — подумал я. — Что тут смешного? Это вовсе не смешно: это грустно”.

— Эй, — прошептал я, — чего вы смеетесь? Ну что вы там нашли смешного?

Но хихиканье продолжалось.

— Я вас спрашиваю: что вы нашли смешного? — повторил я погромче, но не совсем громко, вполголоса. — Тут ничего смешного нет, над чем здесь смеяться? Эй вы, я вам говорю: в конце концов это и нехорошо. Это недостойно — смеяться над человеком, который попал в беду. Ну и что ж такого, что я в тюрьме? В конце концов есть такая поговорка: „От сумы да от тюрьмы не зарекайся”. Я ведь не преступник, а это просто недоразумение: вот смотрите, когда оно разъяснится, вам будет стыдно.

Но хихиканье все продолжалось.

„А может быть, он свихнулся, мой тюремщик? Свихнулся и теперь хихикает. Свихнулся здесь, в одиночестве. Здесь, наверное, никого нет, в тюрьме, вот он и свихнулся”.

— Ку-ку-у-у! — раздалось за дверью.

„Что-то он того... Наверное, здорово повернулся, — мне стало не по себе, — а что он ночью заберется сюда и того... Возьмет да и ужокошит меня во сне: двинет каким-нибудь болтом, или гайкой, — и все. Может, здесь так принято”.

А тут еще погас свет, и я почувствовал, как у меня по телу побежали какие-то пупырышки, или мурашки, так что даже защекотало.

„Вообще-то не похоже на него, — попытался я себя успокоить”, — он с виду, в общем-то, безобидный старичок, но черт его знает?.. С этими сумасшедшими нужно очень осторожно — мало ли что ему в голову взбредет?”

— Хи-хи-хи, — радостно стрекотал старичок, — хи-хи-хи.

„Ну его, — подумал я, — ну его к лешему!”

„А может, это я сумасшедший, — внезапно пришло мне в голову, может быть, это у меня начинается сумасшествие? И вот — галлюцинации? Сумасшествие всегда начинается с галлюцинаций. И правда, чего ему смеяться? Во мне ничего смешного нет, ситуация тоже вовсе несмешная: нормальный человек не стал бы над этим смеяться. Наверное, кто-то из нас ненормальный: или он, или я. Если это не галлюцинации, то он ненормальный, а если галлюцинации, тогда — я. Лучше галлюцинации, — подумал я, — лучше галлюцинации, чем он меня пристукнет болтом”.

Хихиканье за дверью продолжалось еще некоторое время, потом прекратилось. Очевидно, либо кончились галлюцинации, либо старичок перестал хихикать. Ну, может быть, ему надоело и он перестал. Увидел, что я не отвечаю, и перестал.

Я еще немного подождал для страховки, но старичок больше не хихикал, и тогда я понемногу успокоился и стал засыпать.

Я засыпал: мысли мои путались, сбивались, вместо них появлялись какие-то образы: не то мушки, не то круги, — я засыпал. И у меня было такое впечатление, как будто у меня не голова и вообще я — не я, а существует какая-то челка, та-

кая желтая, соломенного цвета, которая все клонится и клонится к земле; но как только эта челка касалась земли, я в страхе просыпался, и сразу становилась — не челка, а возникало ощущение особенной трезвости, такой трезвости, от которой шуршит в голове. Я переворачивался на другой бок и снова пытался заснуть, и снова мне это почти удавалось, но потом опять: едва только я начинал погружаться в забытие, как в ту же секунду с сильным сердцебиением просыпался. Так повторялось несколько раз, пока, наконец, вовсе не пропала всякая способность заснуть. Мне казалось, что кто-то присутствует в камере; вернее, не кто-то, а именно старичок прячется где-то здесь, в темноте, что он, как какой-нибудь сухой стручок, настороженно торчит в углу и, ожидая, пока я окончательно засну, крепко сжимает в закостеневшем кулачке заржавленный болт.

Я тихо скользнул с кровати на пол и затаился. Так я немножко подождал, а потом на четвереньках пополз в угол, где умывальник. Я рассчитывал схватить старичка за ноги и рывком повалить на пол, а повалив, связать — у него, наверное, есть пояс или подтяжки; вот и связать его поясом или подтяжками, — а потом подождать, пока кто-нибудь придет за ним (ведь должны же за ним придти?), дожидаться кого-нибудь и объяснить, что вот, мол, забрался ночью ко мне в камеру и хотел меня убить, а в доказательство показать им болт, которым он хотел меня трахнуть.

Но в этом углу тюремщика не оказалось. Я судорожно развернулся (на четвереньках это было очень неудобно), развернулся и втянул голову в плечи, ожидая удара из левого угла.

„Сейчас как жажнет, — подумал я, — как жажнет

болтом по затылку, ему это очень удобно сверху, просто раз плюнуть”.

Я так же, на четвереньках, рванулся в другой угол и, приподнявшись на коленях, выбросил руки вперед — они захватили пустоту.

„И здесь нет. — Я перевел дух. — Где же он? Может быть, залез под кровать? Ну конечно же, залез под кровать, ведь оттуда ему удобней всего стукнуть меня болтом, просто высунуться из-под кровати и врезать, когда я буду спать”.

Я медленно повернулся на четвереньках и пополз под кровать. Здесь я уже не мог подцепить его под коленки, но и у него под кроватью не могло быть такой свободы действий, как в углу, и я рассчитывал схватить его за руки и скрутить.

„Чего ему-то надо? — подумал я. — Ну ладно, Понтила — он молодой, у него темперамент, но чего тебе-то, старичку и, в общем-то, солидному человеку, играть в разведчики?”

А ведь сначала я даже подумал, что он симпатизирует мне, этот старичок. Да, зря я обольщался на его счет. Не думал я, что он такой змей. Вот уж действительно — мягко стелет, да жестко спат.

Внезапно моя правая рука наткнулась на что-то жесткое и холодное, а в следующий момент зазвенело и сразу что-то потекло под меня. Я вскочил, больно ударившись плечом о край кровати.

„Ах, это я опрокинул ведро, — сообразил я, — да, конечно, никого нет в камере, — подумал я, — зря я напраслину возвел на старичка: он, конечно, с придурью, но не до такой степени, чтобы убивать людей. Ведь как-никак, а за убийство арестанта по головке не погладят.

Однако на всякий случай я еще пошарил под второй кроватью, но, разумеется, и там никого не нашел. Я только пожалел, что опрокинул ведро, от

которого теперь по камере распространялся дурной запах.

— Пахнет, ну прямо как в каком-нибудь туалете, — сказал я, зажимая пальцами нос, — как в каком-нибудь общественном туалете, или сортире, — и я еще раз обругал себя.

Тем не менее, успокоившись насчет старичка, я вернулся на свою кровать и, несмотря на вонь, которая здесь была еще сильнее, наконец заснул.

Проснулся я от яркого электрического света, и как-то внезапно: видимо, электричество включили. Я сел на кровати с таким ощущением, как будто не спал вовсе, а как будто просто отвлекся на минуту от каких-то своих мыслей, которые тут же попытался припомнить, но из этого, естественно, ничего не получилось: ничего не вспомнил.

„Интересно, сколько я уже здесь? — подумал я: мне казалось, что я здесь уже очень давно, — так давно, что все мое прошлое, до ареста и сам арест, не вспоминается, и за стенами моей камеры ничего нет, а весь мир здесь, и я в этом мире один.

Я с бессмысленной тщательностью осмотрел камеру, от нечего делать цепляясь глазами за каждый предмет, пока не заметил на цементном полу беловатый контур высохшей лужицы. Я вспомнил про опрокинутое ведерко и только тогда почувствовал вонь.

— Фу, как пахнет! — сказал я, и мне стало стыдно за свой ночной страх.

— Конечно, — сказал я, — это от одиночества в голову лезет всякая ерунда, и поэтому начинаются галлюцинации.

Я однажды читал, как один статистик сидел в барокамере. Я, правда, никогда не бывал в барокамере, так что толком не знаю, как она выгля-

дит; знаю только, что там испытывают на летчика или на космонавта, в общем, что-то такое. Так вот этот сицилиец сидел в барокамере, и на третий день он услышал за стенкой духовой оркестр, который играл вальс „На сопках Манчжурии”. И потом он никак не мог отделаться от этого вальса; две недели ходил и все напевал: „... герои спят, герои спят...”.

„Неужели я здесь уже третий день? — подумал я. — Вот черт, когда же кто-нибудь придет?!”

Это ожидание уже вымотало меня; оно становилось нестерпимым. Чтобы отвлечься и как-то рассеять свое беспокойство, я попытался вспомнить, что я видел во сне, но оказалось, что ничего не видел. Я вспомнил о еде, и сейчас же рот наполнился слюной; я проглотил ее. Сосало под ложечкой. Я встал и опять стал расхаживать по камере и ходил все быстрее и быстрее, надеясь, что мне, как и в прошлый раз, удастся задуматься и не вспоминать о еде. Однако мне никак не удавалось отвлечься от этой темы.

— Вот проклятье! — воскликнул я и остановился посреди камеры. — Неужели они так и не принесут мне поесть? О чем они думают, хотел бы я знать! Кажется, я бы сейчас что угодно съел. Даже лягушку или крысу, — и то съел бы. — От этой мысли меня затошнило. — Нет, крысу — это, конечно, фигурально, — сказал я, — это я, конечно, шучу. Я бы, конечно, не стал есть крысу ни при каких условиях. Это пусть десантники едят крысу, если им нравится, а я крысу есть не стану, даже если за это пообещают немедленно меня отпустить.

Я задумался.

„Нет, — подумал я, — за свободу я бы, пожалуй, даже крысу съел. Да, конечно, — подумал я, — свобода — это самое дорогое на свете: выше свободы

ничего нет. Лучшие люди моей страны отдавали жизнь за свободу, а тут — крыса... Нет, крыса — ерунда, свобода важнее. Как это я раньше не понимал этого? — подумал я. — Да, разгуливал себе на свободе и ничего не понимал; не чувствовал ее, как не чувствовал голода; а теперь чувствую голод и тюрьму. Вот ведь как, — подумал я, — цену свободе познаешь только в тюрьме. Да! — повторил я. — Цена свободы познается в тюрьме. Это красиво звучит, — подумал я, — красиво звучит. Никогда прежде я бы не смог так сказать. И в этом еще одно преимущество тюрьмы: в тюрьме появляются красивые мысли. Высокие мысли:

С В О Б О Д А
Р А В Е Н С Т В О
Б Р А Т С Т В О

эти слова, наверное, родились в тюрьме. А что? Наверное. Сажу за решеткой, в темнице сырой, вскормленный на воле, орел молодой... Как там дальше? ... и вымолвить хочет — давай улетим... Да, это все тюрьма, — подумал я, — и это потому, что в тюрьме сосредоточиваешься на таких вещах, на которые на воле просто не обратил бы внимания. А почему? Потому что в тюрьме ты оказываешься в чистоте: здесь ничто тебя не отвлекает от твоих мыслей. Так что именно в тюрьме ты в некотором смысле обретаешь подлинную свободу. Да, это так: ведь на воле твои мысли обусловлены множеством обстоятельств, а здесь эти обстоятельства сведены к минимуму. Свобода — это осознанная необходимость”.

Но тут я почему-то стал икать.

— Это, конечно, от голода, — сказал я и проглотил слюну, — разумеется, от голода. Что же они думают?

„А вдруг они и не собираются меня кормить? —

подумал я. — Ну почему? Не для того же они посадили меня в тюрьму, чтобы уморить голодом? Нет, вот сейчас недоразумение, наверное, уже разъяснилось, и меня скоро выпустят отсюда, и поэтому теперь уже не кормят, так как питание заключенных, вероятно, связано с какой-нибудь документацией: ну там ставить на довольствие или что-нибудь, как это там бывает; а меня теперь скоро выпустят и уж не хотят связываться со всеми этими бумагами: это мне даже очень понятно. Конечно, все так и есть”.

— Ну, что ж, подождем, — сказал я себе, — он скоро придет.

И я опять принялся ходить по камере, как маятник Фуко, или Максвелла, или я уж не знаю, какие там еще бывают маятники; но только я все ходил и ходил, но никаких высоких мыслей больше ко мне не приходило; а я был как на вокзале и как бы ожидал поезда, чтобы куда-нибудь ехать на нем, а он все не приходил; и я время от времени вскидывался и повторял: „Ну когда же он придет?!” Но кто — „он”, я не знал и даже об этом не думал, но, во всяком случае, не поезд имел в виду. Наконец я выдохся ходить и присел на кровать, чтобы отдохнуть и перевести дух. Но едва я собрался перевести дух, как тут же вскочил снова, потому что в коридоре послышались шаги.

Шаги были четкие, уверенные и даже решительные, так что я сразу понял, что это идут ко мне. Я опять сел. На всякий случай, чтобы не подумали, что я кого-нибудь жду. Я настороженно прислушивался: я хоть и знал, что идут ко мне, но все же очень боялся, что вдруг не ко мне, а вместо этого шаги приблизятся, а потом удалятся, пройдут; и я весь напрягся; и как будто что-то подталкивало

меня сзади, приподнимало меня; но я держался и сидел.

Шаги приблизились и замерли у моей камеры. Два раза повернулся ключ. Открылась дверь — вошел полковник Шедов. Я его сразу узнал.

— Добрый вечер, — сказал полковник и щелкнул каблуками.

Я встал.

— Здравствуйте, полковник, — сказал я, — я хочу заявить протест.

— Против чего? — сухо поинтересовался полковник.

— Против незаконного заточения, то есть я хочу сказать — заключения в тюрьму.

— Садитесь, — пригласил полковник, — садитесь — поговорим.

— Хорошо, поговорим, — решительно сказал я и сел. Я решил не сдаваться, я решил твердо отстаивать свои права и в этой борьбе или погибнуть или отстоять свою независимость.

„Довольно мягкости, — подумал я, — довольно бесхребетности. Настало время свершений. Это будет мой последний и решительный бой, и если я его не выиграю, я проиграю. Именно благодаря мягкости и бесхарактерности я и попал сюда, и теперь нужно проявить твердость, максимум твердости”, — сказал я себе и поднял глаза на полковника. Полковник холодно смотрел на меня и ни о чем не спрашивал. Вообще ничего не говорил — молчал.

„Зачем мне начинать первым, — подумал я, — я ни в чем не виноват: пусть он предъявит мне обвинение, а там посмотрим. Пусть первый выскажется, а я послушаю. А потом уже я скажу: лучше говорить последним. Хорошо смеется тот, кто смеется последним”.

Но он все смотрел на меня и молчал. Не то чтобы мне стало не по себе, нет: просто как-то не совсем удобно, когда человек ждет от тебя, что ты ему что-нибудь скажешь, а ты смотришь ему в глаза и молчишь. Но я все-таки держался и продолжал молчать. Я даже решился смерить его глазами. Так смерил с головы до ног. Его узкие и длинные сапоги были покрыты пылью, как будто он вернулся из дальней дороги или из странствий, но на сапогах сверкали глянец тонкие рисочки от его стека, которым он, вероятно, похлестывал себя по сапогам, а теперь он держал этот стек в руках и сгибал его то вверх, то вниз. Но я, несмотря на это, продолжал его мерить: я стал мерить его снизу вверх, осмотрел его измятый, но отлично сшитый мундир, дошел до накладного нагрудного кармана со складочкой и, наконец, встретился с ним глазами.

Полковник отложил в сторону свой стек и достал из бокового кармана (тоже со складочкой) маленький кожаный портсигар. Он вежливо протянул его мне.

— Курите, — предложил полковник.

— Спасибо, полковник, я не курю.

— Ну, а я закурю, — сказал полковник, — вы уж простите, не могу: в нашем деле не курить — невозможно. Вы и представить себе не можете, какая нервная у нас служба: не служба, а настоящий ад.

Полковник жадно затянулся и выпустил дым из ноздрей. Задумался.

— Та-ак, — сказал полковник после недолгого раздумья, — что же вы хотели мне сказать?

— Я ничего не хотел вам сказать, — ответил я, — это ваши люди притащили меня сюда и они говорят, что я убил человека, а я не убивал.

— Та-ак, — сказал полковник, — кого же вы убили?

— Я никого не убивал, это они говорят, что я убил.

— Вы не умеете вести диалог, — сказал полковник, — интеллигентный человек, а не умеете. Я спрашивал, кто убит, а не кто убийца.

— Они сказали, что я убит, они это сказали мне и моей жене. Да, они мне сказали, что я убит.

— Но ведь это же абсурд, — сказал полковник.

— Конечно, абсурд! — закричал я. — В том-то и все дело.

Полковник задумался, и я тоже задумался, и мы оба некоторое время думали и молчали.

— Та-а-ак, — снова сказал полковник, — а кого же они обвиняют в убийстве?

— В том-то и штука, полковник, — неуверенно сказал я (мне даже было стыдно говорить такую глупость), — в том-то и штука, что они обвиняют меня же.

— Но это тем более абсурд, — сказал полковник.

— Конечно, абсурд: ведь вот же я живой сижу перед вами.

— Вы могли бы об этом не говорить, — сказал полковник, — я это и сам вижу. Вот другой вопрос: за что вы сидите?

— Как? Я же вам сказал, полковник.

— Вы что-то скрываете, — мягко сказал полковник, — а я бы советовал вам признаться: чистосердечное признание облегчит вашу совесть.

— Что вы! Я ничего не скрываю, полковник. Просто я сам ничего не понимаю в этой истории: Шпацкий сказал мне, что я это не я, а другой человек, а меня убили, и что это я убил — вот такой заколдованный круг.

— Не надо мистики, — иронически сказал полковник, — и я понял, что он мне не верит, — не надо вмешивать сюда трансцендентальные силы и кол-

довство. Повторяю вам: чистосердечное признание облегчит вашу совесть. Так что в ваших же интересах будет признаться во всем. Итак, расскажите мне все с самого начала.

Я тоже подумал, что так будет понятней, и стал ему рассказывать:

— Все началось с того, — начал я, — что я услышал по репродуктору объявление, которое меня поразило своей нелепостью: каждому, нашедшему мой труп...

— Ваш труп? — уточнил полковник.

— Да, — подтвердил я, — мой труп. В том-то все и дело.

— Хорошо, — сказал полковник, — дальше.

— Так вот: каждый, нашедший мой труп, должен был сообщить об этом в инстанции. Я решил выяснить, в чем тут дело: я сразу предположил, что это какое-то недоразумение. Я решил зайти домой, чтобы предупредить жену, чтобы она не беспокоилась (потому что она ведь тоже могла слышать это объявление, потому что она всегда слушает все объявления, чтобы не пропустить чего-нибудь важного), а заодно я хотел узнать у нее, где находятся эти инстанции, куда нужно сообщить.

— Они находятся здесь, — сказал полковник, — дальше.

Я не стал рассказывать ему о своем предположении, — о том, что козни, так как боялся, что он заподозрит меня в пристрастности, а вместо этого высказал ему другое предположение, что, может быть, это не мой труп, а какого-нибудь моего однофамильца.

— А как вы думаете, полковник? — сказал я. — Ведь это вполне возможно. У меня все-таки довольно распространенная фамилия, ведь я не какой-нибудь там барон.

— Вы не барон, — ответил полковник, — продолжайте.

— Ну, а тут на углу четвертой Стипендиатской и проспекта Торжества Ретирады меня задержали ваши десантники, полковник.

Тут я не сдержался и рассказал о том, как грубо они со мной обращались.

— Простите им это, — примирительно сказал полковник, — как великодушный человек вы должны им это простить. Впрочем, продолжайте.

Я рассказал ему про нелепое обвинение, и про очную ставку, и как меня привели к жене, и то, что она хоть и не сказала точно, что это я, но все же подтвердила, что я как две капли воды похож на ее мужа.

— По-моему, это заявление говорит в мою пользу, полковник, — сказал я.

— По-моему, напротив, — сказал полковник, — но продолжайте.

— Что продолжать? — сказал я. — Меня привели сюда, и я здесь вот уже не знаю сколько времени.

— Полтора суток, — сказал полковник. — Вы мне все рассказали?

— Все.

Мы замолчали. Полковник погрузился в глубокую задумчивость, а я тоже задумался. Первое впечатление от ареста уже прошло, и после рассказа я увидел, что мое положение вовсе не так уж безнадежно, как казалось на первый взгляд. Для того, чтобы уверенней вести разговор, я стал суммировать факты. Полковник, по-моему, тоже суммировал.

— Итак, — наконец прервал молчание полковник, — какими фактами мы располагаем? — Первое, — сказал полковник и загнул мизинец на ле-

вой руке, — первое — это объявление по радио, это пресса, это крайне авторитетно.

— Но, полковник, — перебил я его, — это ошибка. Может быть, это и авторитетно, но, с другой стороны, ведь это может быть и не мой труп. Ведь я же обращал ваше внимание на то, что у меня много...

— Не перебивайте, — сказал полковник, — мы к этому пункту еще вернемся и рассмотрим его все-сторонне.

Я замолчал и стал слушать дальше.

— Второе, — сказал полковник и загнул безымянный палец, — это заявление Шпацкого. Подумайте, насколько оно убедительно, не говоря уже о том, что это заявление десантника, а десант — это тоже достаточно авторитетно.

Я согласился и с этим пунктом.

— Третье, — сказал полковник, загибая средний палец, — ваша жена: она тоже вас не опознала.

— Но она же сказала, что я очень похож.

— Сходство и тождество — разные вещи: как интеллигентный человек вы должны это знать. Но дайте мне кончить. А теперь четвертое и самое главное, — сказал полковник и загнул большой палец (указательного пальца у него не было), — четвертое — это исчезновение трупа.

— Какого трупа?! — закричал я. — Я не знаю, о каком трупе вы говорите!

— Вашего трупа! — гневно сказал полковник и, разогнув большой палец, направил его на меня.

— Не было моего трупа.

— Как не было? — сказал полковник. — Подумайте, что вы говорите. Где логика в ваших рассуждениях, интеллигентный вы человек! Разве то, чего не было, может исчезнуть? Ну скажите, разве может?

— Нет, — сказал я, — конечно, не может. Но с чего вы взяли, что труп исчез?

— Ха-ха-ха! — рассмеялся полковник. — Да с чего бы его стали разыскивать, если бы он не исчез? Ну скажите: вот вы являетесь обладателем вещи. Вы станете разыскивать эту вещь, если она у вас перед глазами? Станете вы?..

— Нет, конечно, — уверенно ответил я, — зачем мне разыскивать то, что есть?

— Вот именно, — сказал полковник, — не станете, и я тоже не стану, и вообще ни один нормальный человек не станет. А теперь представьте — наличествует труп. Нужно ли его разыскивать? Нет, не нужно, — сам себе ответил полковник, — и его не разыскивают, его берут и хоронят. Но если трупа нет, следовательно он исчез. Логично? — спросил полковник.

— Логично, — ответил я.

— Так куда же он исчез?

— Да, куда же он исчез? — удивился я.

— Да, куда же он исчез? — задумчиво повторил полковник.

Он глубоко затянулся.

— Но оставим до поры до времени этот вопрос, — сказал полковник, — оставим его. Прежде чем выяснить, куда девался труп, не лучше ли спросить: откуда он взялся?

— Да, действительно, полковник, откуда он взялся?

Полковник иронически улыбнулся тонкими губами.

— Действительно, — воскликнул полковник, — откуда он взялся? Вы — само простодушие, — сказал полковник. — Ну хорошо, раз уж вас одолевает такое жгучее любопытство, давайте разберем этот вопрос. Но, может быть, тогда лучше уж с самого

начала? Может быть, гораздо конструктивнее будет спросить, откуда вообще берутся трупы?

Полковник пронизательно посмотрел на меня.

— Ну... давайте, — я заерзал на своей кровати, — если это касается нашего дела...

— О-о-о, очень касается, — перебил меня полковник, — весьма касается, — сказал полковник, вставая и подходя к раковине, но при этом не переставая оглядываться на меня, — я бы даже сказал, что, собственно, и является нашим делом.

Он погасил в раковине сигарету и вернулся на место.

— Ита-а-ак, — сказал полковник, — откуда же берутся трупы? Как известно, — сказал полковник, — трупами не рождаются, ими становятся. Существует два принципиально различных способа образования трупа, но при любом из этих, подчеркиваю, принципиально различных способов образованию трупа предшествует существование субъекта.

Первый способ образования трупа — способ естественный, то есть тот, при котором в процессе трупообразования участвует (хоть и пассивно) исключительно предшествующий субъект. Этот способ не имеет отношения к нашему с вами делу, и мы с вами рассматривать его не будем.

Обратимся ко второму способу как к наиболее нас интересующему. Это насильственный способ, при котором труп образуется в результате насильственной смерти субъекта. Вот этот способ и требует самого внимательного рассмотрения.

Какие же факторы необходимы для образования трупа вторым способом? — Фактор первый, — четко сказал полковник, загибая мизинец, — фактор первый — субъект-жертва. — Фактор второй, — сказал полковник, выпрямляя загнутый мизинец, — фактор второй это — субъект-убийца. Вы слышите? —

значительно повторил полковник. — Субъект-убийца! Убийство, — сказал полковник тихо, как будто совершенно обессилев, — убийство есть тягчайшее из преступлений. Вдумайтесь в это слово, — сказал полковник, — убийство: трупобразование вторым способом. Убийство человека — это же преступление против человечества, ибо человек является частью человечества. Че-ло-век, — раздельно повторил полковник, — вслушайтесь, как это звучит. Человек! Это — часть вселенной! А убийство человека — это преступление против вселенной.

В государстве законности и порядка горит земля под ногами преступника. Ни одно, даже самое малое, самое ничтожное преступление не должно остаться безнаказанным. В государстве законности и порядка — основным принципом является принцип неотвратимости наказания. Неотвратимости. Вы понимаете? Каждый несет суровое, но заслуженное наказание. Но прежде чем покарать убийцу, — сказал полковник, — его необходимо найти. Мало того, — сказал полковник, — нужно доказать его виновность. И вот тут возникает вопрос: какими доказательствами располагает обвинение?

Важным доказательством преступления могут служить показания свидетелей, но в данном случае нет свидетелей убийства, поскольку убийство было совершено без свидетелей.

При отсутствии свидетельских показаний суд ограничивается признанием субъекта-убийцы и вещественными доказательствами. Эти два фактора так же необходимы для установления состава преступления и вынесения приговора, как для самого преступления (в данном случае образования трупа) необходимы субъект-убийца и субъект-жертва. Надеюсь, это вам ясно?

Теперь: что может являться вещественным дока-

зательством? Прежде всего, вещественным доказательством убийства может явиться субъект-жертва, посредством убийства преобразованный в труп.

В нашем с вами деле отсутствует вещественное доказательство такого рода ввиду того, что мы с вами только что установили факт исчезновения трупа.

Какими же вещественными доказательствами мы с вами располагаем? Мы располагаем только одним вещественным доказательством, — сказал полковник и выпустил дым тонкой струйкой в бок, — только одним, зато подтвержденным косвенными показаниями свидетелей, — полковник загадочно улыбнулся и полез в карман помятого, но отлично сшитого мундира, — только одним доказательством, — повторил полковник, — но зато каки-и-им!

Быстрым движением он раскрыл какую-то книжку и сунул ее мне под нос. На маленькой блестящей фотокарточке я увидел свое лицо: это был мой паспорт.

Я смотрел и недоумевал. Я вообще-то не очень удивился: разумеется, мне было ясно, что это Шпацкий передал полковнику Шедову отобранный у меня паспорт, но я как-то не думал, что это — доказательство, и поэтому теперь недоумевал. Увидев мое недоумение, полковник торжествующе улыбнулся и спросил:

— Ну, что вы на это скажете?

Я сказал, что не понимаю, почему это является доказательством.

— Сейчас объясню, — сказал полковник и стал объяснять: — Как известно, — сказал полковник, — по существующему положению паспорт оформляется не заочно: его торжественно вручают, и вручают определенному лицу. Рассматриваемый нами паспорт был вручен субъекту, преобразованному в ис-

чезнувший и разыскиваемый труп. Теперь, может быть, вы ответите на вопрос: каким образом этот паспорт оказался у вас?

— Конечно, отвечу, — ответил я, — этой мой паспорт: я получил его законным и торжественным путем, как все.

— Но вы же не труп, — сказал полковник, — а мы с вами установили, что паспорт принадлежит трупу.

— Откуда я знаю, труп я или не труп?! — закричал я, выведенный из себя. — Этот паспорт принадлежит мне, я получил его законным путем; и вообще мы с вами не договаривались, что он принадлежит трупу.

— Извольте, — сказал полковник. — Соответствуют ли паспортные данные лица, поименованного в паспорте, паспортным данным бывшего лица, преобразованного в труп, в таком виде исчезнувшего и разыскиваемого при помощи прессы?

— Да, — сказал я, — соответствуют. Но здесь какая-то ошибка, потому что я не труп.

— Вы-то не труп, — сказал полковник Шедов, — но это и не ваш паспорт.

Я очень устал от этого спора и ничего не мог сказать, кроме как повторить, что это мой паспорт.

— Боже, когда кончится эта пытка! — простонал полковник. — Ну почему вы не хотите чистосердечно во всем признаться? Неужели вы не видите, что нам от вас ничего не нужно, кроме чистосердечного признания: ведь речь идет о вас и о вашей совести.

Полковник из заднего кармана достал белоснежный носовой платок.

— Не хотите? — сказал полковник, вытирая пот со лба. — Ну хорошо. Раз вы утверждаете, что этот паспорт соответствует вам как субъекту, мне придется снова повторить вам всю цепь доказательств. Итак, по радио делается объявление. Объявление о разыскании трупа. Следовательно, труп исчез. Преж-

де чем исчезнуть, он появился. Прежде чем появиться, он существовал в качестве субъекта. В качестве субъекта труп был выдан паспорт. Паспортные данные соответствуют данным, объявленным по радио. Таким образом, цепь замкнулась. Что вы на это скажете?

Я молчал, я решил молчать.

— Ваше молчание более красноречиво, чем ваши объяснения, — сказал полковник, — но было бы лучше, если бы вы признались во всем сами. Поверьте, я действую в ваших собственных интересах: для вас же будет лучше облегчить свою совесть чистосердечным признанием, но если вы намерены упорствовать, вернемся снова ко второму и третьему пунктам.

Я решил нарушить молчание.

— А что это за пункты? — спросил я.

— Как! Разве вы не видели, как я загибал пальцы? — обиделся полковник.

— Нет, я видел, только я не запомнил: какой второй, а какой третий.

— Хорошо. Вы ведь не отрицаете, что в детстве проходили всеобщее школьное обучение совместно с сержантом-десантником Шпацким, из чего вытекает, что он является вашим бывшим одноклассником?

— Разумеется: я это утверждаю, — сказал я.

— Следовательно, Шпацкий при встрече с вами должен был опознать вас как своего одноклассника, не так ли?

— Да, это так, — подтвердил я.

— Но он не опознал вас как своего одноклассника, напротив, в своих свидетельских показаниях он утверждает, что вы не являетесь его одноклассником.

— Так...

— Следовательно, по его показаниям, это — не вы?

— Ну как же не я! — я все никак не хотел примириться с этой мыслью.

— По показаниям Шпацкого!!!

— А-а-а, по его показаниям...

— Та-а-ак, а теперь перейдем к пункту третьему: вот ваша жена, — полковник замялся, — простите, но здесь неуместна такая уж хм... как бы это лучше сказать... ну, скажем, деликатность: вопрос серьезный, согласитесь. Словом, я коснусь некоторых сторон вашей интимной жизни.

Я сжался: я подумал, что вот сейчас он начнет спрашивать про ласки, но тут уж я твердо решил молчать.

„Ничего ему не скажу про ласки, — отчаянно подумал я, — ни слова, хоть пусть он меня режет и жжет”.

Но полковник не стал меня про это спрашивать; он спросил:

— Скажите, как вы думаете, ваша жена вас любит?

— Конечно, любит, — сказал я, хотя и не был теперь в этом особенно уверен. Но мне хотелось на это надеяться. — Да, она меня любит.

— Что ж, я верю вам, — сказал мне полковник, — но если она вас любит, то почему она вас не опознала?

Я не знал, что ему на это сказать.

— Молчите? — сказал полковник. — Хотите, я вам отвечу на этот вопрос? — И ответил: — Она не опознала вас, потому что это не вы.

— Не я?..

— Не вы.

— Итак, из показаний двух свидетелей, за надеж-

ность которых вы поручились сами, вытекает, что это не вы.

У меня как-то все это в голове не укладывалось.

— Что же мне делать, полковник? — спросил я растерянно.

— Сознаться, — ответил полковник.

— Нет, — сказал я, — нет. Что угодно, но сознаться в том, что я убил человека!.. Нет.

Полковник встал. Он взял с кровати мой паспорт и спрятал в нагрудный карман, в боковой карман положил портсигар и носовой платок засунул в задний карман брюк. Он взял с кровати стек.

— Ну что ж, — сказал полковник, — как угодно. Но знайте одно: сколько бы вы ни изворачивались, какие бы доводы вы ни приводили, как бы убедительно ни выглядели ваши показания, ваша ложь в конце концов будет изобличена. Я предложил вам раскрыть карты — вы отвергли мое предложение. Я — человек прямой, чуждый всевозможных тонкостей и уверток. Я не дипломат — я солдат. Я вижу: вы не хотите честной игры — вы вооружились ловкостью и изворотливостью, но, в конечном итоге, я сильнее вас. И знаете почему? — полковник пронзительно посмотрел на меня. — Потому, — сказал полковник, — потому что в моих руках такое сильное оружие, как правда.

Полковник резко повернулся и сделал шаг к двери.

— Полковник! — окликнул я полковника.

Он с готовностью обернулся.

— Да, я вас слушаю.

— Полковник, я здесь вот уже... Вы сказали, что я уж полтора суток здесь? Я, понимаете ли вот... Меня забыли накормить, — так вы не могли бы сказать?..

Лицо полковника выразило разочарование.

— Вам принесут поесть, — сухо сказал полковник и вышел.

Он вышел, и я остался один. Я стал думать о еде. Конечно, это, может быть, и не слишком высокие мысли — о еде, но я ни о чем другом не мог больше думать; а что касается возвышенности этих мыслей, то бывают мысли и ниже, у меня, например, бывают. Итак, я стал думать о том, что меня, наверное, скоро накормят; однако, несмотря на обещание полковника, мне никто ничего не нес.

Я встал и подошел к железной двери. Я для пробы толкнул ее ногой, но она, разумеется, была заперта.

— Конечно, — сказал я, — глупо было бы думать, что они могут оставить ее открытой; да мне и ни к чему: я ведь не собираюсь бежать?

Я наклонился к окошечку и потрогал пальцем глазок, вернее, чуть дальше, ту заслоночку, которой он был снаружи прикрыт. Я попытался подковырнуть ее пальцем, чтобы отодвинуть ее и что-нибудь увидеть в коридоре, но у меня ничего не получилось.

— Нет, не удастся, — сказал я себе, — да это мне ничего и не даст, а вот надо покричать, а то похоже, что обо мне забыли.

— Эй! — крикнул я, — эй! — и подождал. — Эй-эй! Кто там есть?

Из коридора ничего не слышалось.

— Что за черт! — сказал я и испугался, потому что в собственном голосе услышал рыдание.

— Что это я? — испугался я. — Что это я, надо держаться: наверное, они как раз сейчас готовят. Жалко, что я не знаю, который сейчас час: может быть, еще просто не время ужинать. Наверное, здесь всех кормят в одно время (я, правда, не был уверен, что здесь еще кто-нибудь есть, кроме меня).

Я лег на постель, поверх одеяла — в камере было очень жарко, и свет тотчас же погас, как будто только и ждали, чтобы я лег.

„Теперь молчать, — подумал я, — больше ни звука: сжаться в комок и молчать”.

И я сжался комочком, даже, скорее, калачиком: под голову — кулак и подбородок — в колени; так мне было спокойней. И первое время я молчал и в напряжении не думал, потому что мысли мои как будто сжались в комок, но постепенно они разжались и стали понемногу возвращаться, хотя и грустные, и печальные, но потом — отчасти утешительные. Впрочем, утешительных мыслей особенно-то не было — после беседы с полковником Шедовым мне было ясно, что впереди ничего хорошего не предвидится, но у меня было такое ощущение, что я не совсем проиграл. Правда, ничего не выиграл, но и не проиграл. Конечно, я не умею правильно вести диалог, и поэтому я ничего не смог ему доказать, но и он мне тоже не смог, а в этом уже была победа, а уж, во всяком случае, не поражение. Может быть, какой-нибудь умный человек посмеялся бы над этими моими мыслями — я знаю: в них не хватает логики, но пусть он поставит себя на мое место. Вот я посмотрел бы, как бы он доказал свою правоту. Нет, очень трудно выстоять в одиночку, даже обладая опытом и железной логикой; а я ни того, ни другого не имел. И все-таки я выстоял. То есть не совсем выстоял, но все-таки... Пусть даже я остался здесь, в тюрьме, в камере, на кровати, поверх одеяла; вот лежу я скорчившись, съезжившись, сжавшись комочком и даже калачиком, и все-таки у меня еще что-то осталось, немного, но осталось. Да, конечно, в руках у этого полковника аргументы, а кроме аргументов, у него показания свидетелей и вещественные доказательства, и логика; и,

конечно, в его руках было такое сильное оружие, как правда, — но у меня тоже что-то было, я не знаю что, но что-то было.

Заснул я как-то неожиданно и увидел страшный сон. Это был какой-то глупый, даже дурацкий сон, но одновременно и зловещий. Я и прежде неоднократно видел во сне, как будто я пробираюсь по улицам голый, и на этот раз мой сон начался таким образом. Я прятался за бетонным парапетом станции метро, но и станция, и площадь, и две улицы, углом расходящиеся от нее, были мне незнакомы. За парапетом находился спуск в метро и в подземный переход, дальше, за этим провалом, шел второй парапет, на котором спиной ко мне сидели несколько человек. Эти люди — я не знаю, были ли среди них женщины или только мужчины, ничего не делали, даже не разговаривали. Дальше, на площади, было много народу, но все они тоже были как будто на чем-то сосредоточены, и пока никто не обращал на меня внимания. Я осторожно подумал, что вот сейчас кто-то поймет, что я голый, и тогда что-то случится. Я заставил себя обернуться и увидел, что сзади еще больше народу, чем на площади, но они вроде бы, как и те, напряженно что-то высматривают. Внезапно я понял, что они ищут именно меня, но пока еще что-то мешает им разглядеть меня в толпе. Я, пригибаясь, потихоньку стал пробираться вдоль парапета и, обогнув его, сбежал по асфальтовому спуску вниз. Здесь я сообразил, что сделал ошибку, здесь было не так многолюдно, как наверху, и я больше рисковал быть замеченным. Тем не менее и здесь меня тоже пока что не замечали.

Почти прижимаясь к стене, я крался по переходу, но вдруг я понял, что кое-кто уже давно следит за мной: я не видел, кто именно и вообще ничего по-

дозрительного, но буквально чувствовал слезку всей обнаженной кожей; это было особенно знобящее ощущение настойчивого взгляда, даже не взгляда, а самого внимания и преследования.

Я остановился у плоского остекленного ящика, витрины, где на одном из плакатов (желтом по цвету) был изображен японец, останавливающий коня, а под этим японцем крупным черным шрифтом было напечатано:

П Р А В Д А
О Б О Р Ь Б Е
Д Ж И У - Д Ж И Т С У

Я сделал вид, что внимательно рассматриваю этот плакат, а сам стал смотреть, как на стекле мелькают неясные отражения прохожих, а за ними, дальше еще более неясные, уж совсем неразличимые силуэты соглядатаев. И я с внезапной тоской осознал, что мне никуда не деться, не отвязаться от них и что они будут следовать за мной, куда бы я ни пошел, но что, несмотря на это, я должен принять и идти — эту необходимость я тоже сознавал, хотя и не понимал ее причины.

Я двинулся тоннелем вперед, не оглядываясь, и зная, что те продолжают преследовать меня, что у них на это есть тайный приказ; но теперь уже и прохожие, как мне показалось, стали обращать внимание на меня, и некоторые переглядывались, как бы на что-то намекая друг другу; а потом присоединились и добровольцы, и уже довольно много народу шло за мной.

Я невольно ускорил шаги. Я чувствовал, что мне этого ни в коем случае делать нельзя, что если я побегу, то тогда уже вся толпа сорвется и помчится за мной, и даже те, которые идут навстречу, и те побегут. Тем не менее, я шел все скорей и скорей и наконец не выдержал, рванулся и буквально,

как заяц, помчался вперед по тоннелю. И сразу же никого не оказалось впереди меня, а все — сзади. Я в паническом ужасе пролетел мимо рекламных щитов и квадратных бетонных колонн, а по сторонам не было ни двери, ни проулочка, чтобы свернуть, и впереди не виделось конца.

А потом все это как-то само собой кончилось, как будто растворилось, а может быть, провалилось; и сразу же, без всякой связи с предыдущим, начался другой сон. Это был успокоительный сон: мне снилось, что я сижу у себя дома, в комнате, на вращающемся табурете для рояля, а напротив, на диване, сидит моя жена. Да, она сидела на диване, напротив меня, и была нежна и приветлива, как когда-то, в первое время после нашей свадьбы; но только теперь она была как бы врач. Во всяком случае, она была одета как врач: в белой медицинской шапочке и в белом халате, и вокруг шеи у нее были гнутые никелированные трубочки, которые переходили и заканчивались на груди стетоскопом. И я сидел на табурете и рассказывал ей всю свою жизнь, и мне было и грустно, и приятно рассказывать ей жизнь, потому что она сочувственно и ласково улыбалась мне и кивала головой, и гладила рукой по щеке. И при этом она говорила мне что-то участливое и тоже грустное, но это грустное, по-видимому, относилось к прошлому: что-то вроде того, что все уже прошло и теперь будет хорошо.

— Снимите рубашку, — сказала мне жена теплым медицинским тоном и вставила в уши никелированные трубки стетоскопа.

Я снял рубашку, и она принялась простучивать и прослушивать меня. Она приставила стетоскоп к моей груди, пониже сердца, и слушала сосредоточенно и долго, и мне было так сладко, что у меня время от времени замирало сердце, и это, наверное,

мешало ей слушать. Потом она выпрямилась и вынула трубки из ушей, она улыбнулась мне.

— Подожди здесь, — сказала она, — подожди, — и вышла.

Она вышла, а я стал ждать: я ждал. Я ждал некоторое время, но потом стал приходить в недоумение, потому что оказалось, что я сижу не напротив дивана, а посреди комнаты, а дивана не было, и вообще никаких вещей не было, да и комната как будто была не моя. То есть и моя, а в то же время совершенно чужая. Мне еще не было страшно, но уже становилось не по себе. Я смотрел на дверь, которая оказалась перед моими глазами, и ждал, что кто-то сейчас войдет в комнату, но уже было ясно, что это будет не жена. И правда, дверь медленно отворилась и вошел полковник Шедов.

„Что вы здесь делаете, полковник?“ — хотел было спросить я, но понял, что этот вопрос был бы излишним, потому что я отлично знаю, что полковник заведует у меня дома техникой пожарной безопасности.

Полковник улыбнулся своим длинным, безгубым ртом, и я увидел, что он уже давно все знает. Держа в руках дерматиновый чертежный футляр, он подошел к стене и обернулся.

— Итак, — сказал полковник, продолжая улыбку, — вы утверждаете, что учились в школе вместе с сержантом-десантником Шпацким. Возможно, но, во всяком случае, если вы и знакомы с ним, то весьма поверхностно: вы не коснулись основ и не проникли в суть предмета. Поэтому я должен подвергнуть вас небольшому экзамену. Вы не против?

„Какая разница, против я или не против?“ — подумал я и сказал:

— Спрашивайте, мне все равно.

— Отлично, — сказал полковник и, развернув, повесил на стену плакат, — читайте!

На плакате крупными черными буквами было написано одно слово:

Б О Р Ь Б А

— Борьба, — прочел я вслух.

— Так, — сказал полковник, — а теперь прочтите по буквам.

— Бе-о-эр-мягкий знак-бе-а.

— Неверно, — сказал полковник, — Шпацкий! Шпацкий подскочил к полковнику, отдал ему честь и повернулся ко мне.

— Буква „бе”, — сказал Шпацкий, — повторяется в слове „борьба” два раза; следует читать: бе-о-эр-беприм-а.

— Верно, — сказал полковник, — а теперь...

Он развернул и повесил на стену другой плакат, на котором было написано:

П Р А В Д А

— Правда, — прочел я, — и повторил по буквам, стараясь не ошибиться, — пе-эр-а-ве-де-априм.

— Неправда! — крикнул полковник, — Шпацкий!

Шпацкий щелкнул каблуками, но мне показалось, что челюстью.

— Пеприм-эр-а-ве-де-адва, — Шпацкий щелкнул челюстью, — ты слышал, скотина? а-два. Прочти по буквам: ве-де-а — как раз и получается: два.

— Вот видите, — сказал полковник, — он знает, вы — нет. А еще говорите, что учились с ним в одном классе.

— Да он врет! — крикнул Шпацкий. — Он всегда врет, он всю жизнь врет, он и в школе врал; так откуда же ему знать, как пишется „правда”? Кре-тин, — оскалился Шпацкий, — ты в плену у своих представлений, да что там, ты весь из своих представлений. Нужно мыслить каламбурами, нужно

мыслить парадоксами, нужно понимать с полуслова, с четверти слова, с буквы слова. Ду-рачо-хо-хо-ок! — засмеялся Шпацкий. — Нужно следовать правилам: только так можно понять суть вещей и явлений.

— Он никогда не поймет сути вещей и явлений, — раздался рядом маслянистый баритон, и джиу-джиски выпучил на меня нефтяного цвета глаза, — потому что он не следует правилам, и все понимает наоборот. Вот почему он в плену своих представлений.

— Что? — крикнул я. — Это неправда: я вас побил.

— Вранье, — ответил джиу-джиски, — я покажу, а вы повторите. Да, повторите, попробуйте. Ну, повторяйте же!

И-и-и-и...

Джиу — раз,

Джиу — два,

Джиу — восемьдесят два!

Джиу-джиски поразил воздух каким-то очень хитрым движением.

— Дела-а-а-ай!

Я сделал — и не успел скорчиться от острой боли в суставе, как почувствовал, что лечу куда-то в темноту.

Я больно ушибся копчиком и, с трудом приподнявшись на локтях, открыл глаза.

Кругом была непроглядная ночь. Я понял, что я нахожусь в камере и что я проснулся. Однако боль в копчике и в правом локте не проходила, и я подумал, что во сне упал с постели на пол. Я пошарил вокруг себя руками и нащупал край своей деревянной кровати: нет, я не падал во сне. Боль в копчике не проходила: не слишком сильная, но все-таки была. Я вспомнил о нескольких пинках, полученных мною от Понтилы. Я поднял левую

руку, которая не болела, и тыльной стороной ладони вытер пот со лба. Я опустил ноги на пол и взялся рукой за сердце. Оно билось так сильно, что отдавалось стуком мотора в висках. Ощупью я добрался до умывальника, открыв кран, сунул голову под холодную струю и держал так до тех пор, пока не заломило затылок. Тогда я вернулся на кровать и сел, с отвращением чувствуя, как вода стекает мне за воротник. Я почти совсем пришел в себя, но меня все не покидало ощущение нереальности, видимо, оттого, что я не имел никакого представления о времени. Сидя, я уткнулся лицом в колени и оцепенел.

Я очнулся оттого, что опять зажегся свет, и очнулся я с такой мыслью, что сейчас что-то произойдет:

„Сейчас что-то произойдет”, — подумал я, и правда, дверь бесшумно открылась, и в дверях появился полковник Шедов.

— Можно? — спросил полковник Шедов, появившись в дверях.

„Он еще спрашивает! — подумал я, возмущаясь одним только разумом (негодовать по-настоящему у меня не было сил), — еще спрашивает, — лениво подумал я, — просто издевательство какое-то!”

— Войдите, — сказал я.

Полковник вошел и сел на противоположную кровать.

— Курите, — сказал полковник и протянул мне свой кожаный портсигар.

— Спасибо, — сказал я, — я не курю. Я очень голоден, полковник, — напомнил я ему, — вы обещали, что меня накормят, но меня не накормили.

— Вас накормят, — сказал полковник, — но сна-

чала нам предстоит уточнить некоторые вопросы, так сказать, поставить точки над „i”.

Полковник закурил и замолчал. Я тоже молчал и не поддерживал разговора: у меня не было никакого желания говорить и даже слушать. Я желал только одного, чтобы полковник поскорее ушел и оставил бы меня в покое: я уже не мечтал о том, чтобы меня выпустили отсюда, мне даже не хотелось на свободу — свобода принесла бы мне какие-нибудь новые хлопоты или беспокойства, — мне также все равно было, накормят меня или нет: мне уже и есть перехотелось, а спросил я просто так, может быть, по инерции, или мне хотелось досадить полковнику; вообще же, мне все было безразлично, и только вежливость мешала мне снова уткнуться лицом в колени; и поэтому я сидел и сонными глазами смотрел на полковника, и ждал, когда он докурит, наконец, свою сигарету.

Полковник, наконец, докурил. Он погасил сигарету в раковине и вернулся на свое место. Его движения были вялы и медлительны: было похоже, что ему тоже все это надоело и он устал.

— Итак, — скучным голосом сказал полковник, — поставим точки.

— Точки?.. — переспросил я.

— Да, точки... над „i”. Вы что, забыли?

— А-а-а, да, — сказал я, — точки...

— Ну вот, мы их с вами и поставим, — сказал полковник. — Можно?

Я пожал плечами.

— Спрашивайте, мне все равно.

— Вы решительно отвергаете выдвинутые против вас обвинения? — спросил полковник, рассматривая сигареты в портсигаре.

— Да, решительно, — ответил я. Но в моем голосе вовсе не было решительности. Вообще мне на это

уже было наплевать, и если я продолжал держаться прежних показаний, то только потому, что новые показания повлекли бы за собой новые вопросы, а мне и старых было довольно.

— Из этого следует, — сказал полковник, вынимая сигарету из портсигара, — что вы настаиваете на идентичности.

— На какой идентичности? Простите, полковник, я сейчас плохо соображаю.

— Ну, вы утверждаете, что являетесь разыскиваемым трупом.

— Нет, полковник, — сказал я, — я являюсь живым человеком, а что касается трупа, то я по-прежнему уверен, что здесь произошла ошибка.

— Вы — крепкий орешек, — сказал полковник, — вы стойко держитесь, и ваша стойкость вызывает у меня уважение. Однако вернемся к нашей с вами проблеме: вы утверждаете, что являетесь тем самым лицом, паспорт которого я вам предъявлял?

— Да, — коротко ответил я.

— Значит, вы утверждаете, что объявление по радио, заявление сержанта-десантника Шпацкого и неуверенность вашей жены — все это ошибка?

— Да, — сказал я, — могут же люди ошибаться?

— А вы? — сказал полковник, глядя мне в глаза.

— Что я?

— Вы можете ошибаться?

— Да, конечно, полковник, но я уверен, что не в случае с самим собой.

— Хорошо, оставим это в стороне, — сказал полковник, закуривая сигарету, — допустим, что я лично — верю вам; даже не „допустим”, а я вам верю. Да, я смело и открыто заявляю вам, что я вам верю. Более того, скажу вам больше. Знаете, что я скажу вам? Я скажу вам, что я отлично понимаю страдания вашей истерзанной души. Страдания

души человека, ставшего жертвой ужасной ошибки, я бы даже сказал, роковой ошибки, — полковник вытащил из нагрудного со складочкой кармана носовой платок и высморкался, — я понимаю страдания вашей истерзанной души и глубоко вам сочувствую. Ну, что вы на это скажете? — спросил полковник и выжидательно на меня посмотрел.

Я растерялся: этот поворот был для меня настолько неожиданным, что я растерялся. Я смотрел на полковника и не знал, что сказать. Полковник затаился сигаретой, выпустил дым и дружески мне улыбнулся.

— Ну!.. — ободряюще сказал полковник.

Я не понимал: я некоторое время смотрел на полковника, все путалось у меня в голове, да и сама голова кружилась от слабости. Наконец, я смог говорить, можно сказать, что я обрел дар речи.

— Полковник, — сказал я, — значит, вы верите мне? Я правильно вас понял?

— Правильно, правильно, — закивал головой полковник, — абсолютно правильно: я — лично — вам верю.

У меня сейчас не было сил даже обрадоваться по-настоящему, так я был измотан, но сердце мое всегда было открыто добрым чувствам, а благодарность — это доброе чувство, так что я, сколько мог, постарался это выразить.

— Вы просто не представляете, насколько я вам благодарен, полковник, — растроганно сказал я, — вы просто не представляете, что вы для меня сделали, я вам этого никогда не забуду.

— Ну-ну, — отмахнулся сигаретой полковник, — ну что там, пустяки.

Я с благодарностью смотрел на полковника. Нет, свобода — это великая вещь, свобода — это самое прекрасное, что можно придумать; и что бы

там я ни говорил раньше, в минуту упадка, что я, мол, и не хотел бы на свободу, потому что — проблемы; нет, какие там проблемы? Конечно, я уже всей душой был там, на свободе, дома, с женой. Свобода придала мне сил и веры в справедливость.

— Полковник, — все еще не веря в свое счастье, сказал я, — значит, я... нет, вы не подумайте: мне очень приятно ваше общество и я так вам благодарен, что это невозможно выразить словами. Что слова? Пустой звук, — но я надеюсь впоследствии доказать вам свою благодарность на деле: я теперь буду очень осторожен и ни в коем случае не поставлю себя в такое двусмысленное положение, как это случилось на этот раз; и мне очень неудобно, что я так вас затруднил — ведь вам пришлось с таким трудом распутывать это сложное дело, пожалуйста, не подумайте: мне, в самом деле, очень приятно ваше общество, но, с другой стороны, мне бы очень хотелось увидеть свою жену: мне кажется, что я не видел ее уже сто лет.

— Хм, — сказал полковник.

Я посмотрел на него.

— Что, есть какие-нибудь затруднения, полковник?

— Хм, — повторил полковник, — боюсь, что вы меня неправильно поняли. Боюсь, что вы ложно истолковали мое доверие.

— Как, полковник? — не понял я. — Ведь вы же сказали, что вы мне верите.

— Я — лично — вам верю, — поправил меня полковник, — *лично я*; но это вовсе не означает, что и все остальные в этом вопросе поддерживают меня. Согласитесь, что обвинения, выдвинутые против вас, независимо от того, истинны они или ложны, все-таки достаточно серьезны, и с этими обвинениями против вас выступили пресса и десант. Не стоит

лишний раз повторять, что это достаточно авторитетно, но сами подумайте, как выглядит ваше заявление о тождестве в свете презумпции невиновности.

— А что это за презумпция? — спросил я.

— Презумпция невиновности есть признание факта невиновности юридически достоверным до тех пор, пока не будет доказана виновность. Согласно этой презумпции, каждое сомнение должно быть толкуемо в пользу обвиняемого.

— Это прекрасная презумпция, полковник! — воскликнул я. — Я и не знал, что бывает такая презумпция. Ведь теперь всякое сомнение толкуется в мою пользу.

— По-моему, против, — сказал полковник.

— Ну как же против, полковник? — закричал я. — За!

— Против, — сказал полковник и спросил: — Как по-вашему, кто в данной ситуации является обвиняемым?

— Ну как кто? Я, конечно, ведь мы же говорили об этом.

— Так было, — сказал полковник, — так было до тех пор, пока вы не опровергли обвинений, выдвинутых против вас прессой и десантом. При сомнении, возникшем в результате неуверенности вашей жены... словом, в той ситуации это сомнение толковалось бы в вашу пользу. — Полковник снова закурил.

— Но разве ситуация изменилась, полковник? — спросил я.

— На сто восемьдесят градусов, — ответил полковник. — Опровергнув обвинения, выдвинутые против вас прессой и десантом, вы тем самым обвинили их в клевете. Таким образом, вы сами превратили их в обвиняемых и этим дали им в руки такое

могучее средство защиты, как презумпция невиновности. Теперь сомнение вашей жены толкуется в пользу прессы и десанта; и само собой напрашивается вывод о том, что вы не являетесь мужем вашей жены. Вы видите, что вы натворили?

Я был в отчаянье.

— Но неужели ничего нельзя исправить? — спросил я. — Полковник, ведь я только защищаюсь, я же никого не обвиняю в клевете.

— Вы неразборчивы в средствах, — сказал полковник, — если вы опровергаете выдвинутые против вас обвинения, значит, вы считаете их ложными; если вы считаете их ложными, значит, обвинения, выдвинутые против вас — ложь; ложь не существует сама по себе, следовательно, кто-то лжет, отказываясь признать справедливость обвинений, вы обвиняете десант во лжи. Логично?

— Да, это, конечно, логично, полковник, но ведь вы же мне верите?

— Я вам верю, — сказал полковник, — я вам верю. При всей неубедительности ваших показаний я чувствую вашу невиновность. Я ее чувствую шестым чувством. У меня вообще сильно развито шестое чувство, — сказал полковник, — это с детства. Это доставляет мне массу хлопот, но это так. Честно говоря, я бы врагу не пожелал иметь шестое чувство, но так или иначе оно у меня есть, и именно им я чувствую вашу невиновность. Итак: я верю вам, но вы... вы сами вырыли себе яму. Давайте же вас оттуда вытаскивать, давайте бороться за вас. Давайте играть в открытую. Только — прошу вас: пусть это будет строго конфиденциально, пусть это будет *entre nous*.

Я согласился, хотя и не знал, что такое антрну. Но я предположил, что это то же самое, что и конфиденциально, и согласился.

— Итак, раскроем карты, — сказал полковник, — для начала я изложу неофициальную и, так сказать, внутреннюю точку зрения на этот предмет... Ну вот, скажем, Шпацкий... нельзя сказать, что заявление Шпацкого не соответствует истине, хотя на самом деле тут дело гораздо сложнее. С другой стороны, пресса — с этим тоже нельзя не считаться. Вы понимаете меня?

— Честно говоря, полковник, не очень.

— Ну, другими словами... — полковник на минуту приумолк. Потом он вдруг протянул ко мне обе руки и горячо воскликнул. — Ну неужели же вам этого хочется?!

— Простите, полковник, но я опять вас не понимаю.

— Пресса, пресса! — простонал полковник. — Подумайте о прессе. Неужели вам хотелось бы выставить прессу в невыгодном свете?

— Нет, полковник, конечно же, не хотелось бы, но разве обязательно выставлять?

— Слово — не воробей, — строго сказал полковник, — вылетит — не поймаешь. Неужели я должен объяснять вам такие элементарные вещи?

— Но, полковник, ведь прессу могли дезинформировать: ну, например, десант мог ошибиться.

— Между нами говоря, *entre nous*, вы не забыли, что мы говорим *entre nous*, могли. Но только *entre nous*, потому что вы понимаете, что значит указать на такую ошибку? Ведь тогда никто ни в чем не может быть уверен. Где эта уверенность, где стабильность, где, наконец, гарантия, я вас спрашиваю? — гневно воскликнул полковник. — Мир непрочен: все рушится, все расползается, все погружается в хаос, — полковник склонил голову и закрыл лицо руками — замер. — Так я вас спрашиваю, — полковник вскинул голову, и на его лице оказалась гримаса

прямо-таки боли, — я спрашиваю вас: кто может быть гарантирован от подобных ошибок? Кто может поручиться, что завтра он сам не станет жертвой подобной ошибки?

Полковник, не в силах сдержать волнение, встал. Я от испуга тоже вскочил.

— Ой, правда, полковник, — испугался я, — ведь это же ужасно! Неужели же еще кто-нибудь может стать жертвой подобной ошибки? Мне как-то это сразу и в голову не пришло.

— Не может, — проникновенно сказал полковник, — десант не делает ошибок: десант не имеет на это права. Вы понимаете, не имеет права на ошибку. Все имеют право на ошибку, все имеют право, все, кроме нас. Вы чувствуете, насколько это благородно, насколько это возвышенно? — полковник подошел ко мне, он обнял меня за плечо, а другой рукой сделал плавный жест, как бы показывая мне какой-то обширный пейзаж. — Без права на ошибку, — мечтательно сказал полковник, — чтобы все были спокойны, чтобы никто не волновался.

— Да, это конечно, — согласился я, — но в моем случае...

— Не думайте об этом, — сказал полковник, хлопав меня повыше локтя, — не думайте: не мучьте себя и вообще не создавайте паники.

Полковник в задумчивости прошелся по камере.

— Но вернемся к нашим баранам, — полковник повернулся и стегнул стеком по голенищу. — Итак, при всей правдивости своих показаний, сержант-десантник Шпацкий вам верит. Такой, на первый взгляд, странный дуализм проистекает из тех исключительно тяжелых условий, в которых ему, нет — всем нам, приходится работать. С одной стороны, симпатия, дружба, гуманизм; с другой стороны, может быть, преувеличенное, ну обостренное,

я бы даже сказал, болезненное чувство долга, но — прошу заметить — чувство долга. Такова, так сказать, психологическая подоплека его заявления. И тем не менее он верит вам. И я верю, вы понимаете?

Я ничего не понимал: если верит, то в чем же дело? Зачем он тогда так держится за свои показания? Ну хорошо — презумпция невиновности, но, с другой стороны, понял, что ошибка, ну и скажи, что, дескать, ошибка, а тогда уж никакой презумпции невиновности, поскольку я их ни в чем не обвиняю.

Но тут полковник опять напомнил о прессе и о гарантиях, так что и презумпция невиновности ничего не меняет.

— Ну как? Согласны ли вы выполнить свой гражданский долг, как мы выполняем свой, военный? — спросил полковник. — Я открыл свои карты, а теперь ваше слово.

— Полковник, а как?.. Что я должен для этого сделать?

— Сознаться, — твердо сказал полковник.

— Как?! Но ведь вы же говорили, что вы мне верите, полковник, — возмущенно сказал я.

— Разговор идет о вашей совести, которую вы должны облегчить, и о вашем гражданском долге, который вы должны исполнить, — резко сказал полковник, — и причем здесь моя вера?

— Нет, полковник, — сказал я, — я никого не убивал и сознаваться в этом не собираюсь.

— Так, — сказал полковник и сел на кровать. Наступило молчание. Я тоже сел на свою кровать и задумался. Я думал о том, какая странная и неразрешимая сложилась ситуация.

„Как же это получается? — думал я. — Я абсолютно невиновен, и все верят мне и даже сочув-

ствуют, и ничего сделать не могут, потому что так трагически сложились обстоятельства: и презумпция невиновности, и гражданский долг, и гарантии... — А жена? — внезапно вспомнил я. — Как же это я забыл о жене? Вот она в последний раз сказала, что не уверена, что не берется утверждать и так далее, но на самом деле?.. Верила она мне тогда или нет? Верила она, что это я? Нет, — с надеждой подумал я, — нет, конечно же, она мне не верила, ведь она никогда мне не верила. А может быть, и она верила? Может быть, она и раньше мне верила? Верила, но смотрела на это сквозь пальцы. Ну, там из чувства долга, или из-за какой-нибудь презумпции, мало ли их, этих презумпций, может быть, их очень много. Может быть”.

Мне стало очень горько от этих мыслей, но все же у меня еще сохранялась очень маленькая, совсем слабая надежда на то, что вдруг это не так, что, может быть, все это только моя пустая мнительность, и я боялся спросить полковника, — ведь если он своим ответом разрушит и эту мою последнюю надежду... Но я все-таки набрался мужества и, задержав дыхание, спросил:

— Скажите, полковник, — спросил я, чувствуя, как подпирает воздух, — скажите, — спросил я, — а моя жена... она тоже... она верит мне?

— Ваша жена-а-а... — сказал полковник, внимательно глядя мне в глаза, — ваша жена, — и, как мне показалось, он прочитал эту последнюю надежду в моих глазах, — ваша жена. Ну, как вам сказать? — сказал полковник. — Н-нет, не думаю, — сказал полковник, — не думаю, она вообще настоящая гражданка — вы должны быть достойны своей жены.

Полковник потупился в пол и стал гнуть свой стек. Так он сидел и гнул, и некоторое время ни-

чего не говорил, а потом отложил стек, как-то поощрительно посмотрел на меня и спросил:

— Ну как, может быть, все-таки сознаемся, а?

Я почти решился, — мне было нечего терять.

— Скажите, полковник: а что мне будет за это? Ну вот — если я сознаюсь?

— Давайте не будем торговаться, — сказал полковник, — не будем торговаться, а будем принципиальны. Ну, я в последний раз вас спрашиваю: сознаемся или нет?

— Нет, — сказал я.

— Вот как, — прищурился полковник, — вот вы как? Приняли мое предложение играть в открытую, выведали у меня под этим соусом все тайны, а теперь на попятную? Как говорится, в кусты? Мое, мол, жилище с краю и так далее и тому подобное... Значит, так? А как же, в таком случае, *entre nous*?

— Что антрну? — не понял я.

— Договор? — сказал полковник. — Договор дороже денег. Ладно, — сказал полковник, — не сознавайтесь: я не хочу на вас давить. Давайте, вместо этого, согласимся на компромисс. Я предлагаю вам компромисс. Идет?

— А что за компромисс? — спросил я.

— Это вас не касается, — сказал полковник, — это мое дело. Как вы? Согласны?

„Ладно, — подумал я, — уж хоть компромисс: уж хоть это”.

— Ладно, — сказал я.

Полковник облегченно вздохнул.

— Ох, и крепкий же вы орешек! — сказал полковник. — Ну-с...

Он встал, подошел к двери и, широко распахнув ее, пригласил меня выйти. Я вышел: длинный, плохо освещенный коридор с двумя рядами железных

дверей был пуст, и из-за дверей, как и в прошлый раз, когда меня привели сюда, не доносилось ни звука, — по-видимому, в остальных камерах все-таки никого не было. Полковник вышел за мной и аккуратно закрыл за собой дверь, и когда мы шли с ним по коридору, я впервые с удивлением заметил, что он ниже меня ростом. Вероятно, полковник был не вполне доволен результатом нашего разговора, потому что до самого выхода он молчал и только сгибал и разгибал в руках свой стек.

Старичок встретил нас у входа и попросил расписаться в какой-то книге, но полковник отстранил его рукой и сказал:

— Не надо, ничего не надо. — Вот народ! — с неудовольствием сказал мне полковник. — Не могут без бумажек. — Я кивнул головой.

Мы вышли, и меня как будто ослепило. Нет, не то чтобы на улице оказался яркий день. Как раз наоборот: была глубокая ночь. Мне показалось, что над моей головой закружилось звездное небо: на самом деле, это, конечно, не небо, а голова закружилась от свежего и прохладного воздуха. Но главное, что еще здесь, стоя на крыльце, можно сказать, на пороге тюрьмы и, несмотря на то, что в переулке было узко, тесно и криво, — несмотря на все это, я почувствовал необъятность пространства, а всего-то для этого и понадобилось, чтобы только не было железной двери, которая от всего меня отгораживала.

Впрочем, я прекрасно понимал, что вся эта история еще не окончена, а когда за моей спиной лягнул прочный железный запор, я вздрогнул. Правда, я вздрогнул не от этого железного звука, а от совершенно другой неожиданности: придя в себя после первого легкого головокружения, я увидел стоящих поодаль, под фонарем, нескольких десант-

ников, и среди них я отметил и Шпацкого, и Понтилу. Освещенные белым светом фонаря, десантники твердо стояли на мерцающих булыжниках мостовой, и от этой мрачной обстановки мне сразу показалось, что они к чему-то приготовились. Честно сказать, я струсил.

— Полковник, — в растерянности обратился я к полковнику, — вы не забыли? Ведь мы с вами договорились. Ведь я же согласился, полковник. Ведь я согласился на компромисс, так что же они?.. Зачем же?.. Уж вы, пожалуйста... пусть они... не надо: я и так...

— Я помню, — сказал полковник, — не бойтесь: я же здесь. Пойдемте.

Мы сошли с крыльца, и десантники сразу же обступили нас.

— Ну вот, — задумчиво сказал полковник, — вот и компромисс. Поняли? — спросил полковник. У меня волосы зашуршали.

— Как же так, полковник? Я ничего не понимаю. Если это они, то какой же тут компромисс?

— Идите, — сказал полковник, — идите там вам объяснят, — и, усмехнувшись, добавил, — на пальцах объяснят.

— А-а-а... куда мне идти, полковник? — все еще не понимал я.

— Идите на все четыре стороны, — ответил полковник, — на все четыре стороны: *вы* свободны. Понимаете? *Свободны*. Только помните, — сказал полковник, поднимая большой палец (указательного у него не было), — вы нас не знаете, и мы вас тоже не знаем. Помните — *entre nous*.

— Мне правда можно идти, полковник? — даже не поверил я. Я подумал: „Вдруг здесь опять какая-нибудь презумпция, так что уж лучше выяснить все это сразу, чтобы потом не разочаровывать-

ся”; но в глубине души я уже поверил полковнику. — Так... полковник, неужели правда можно идти? Значит, я прямо сейчас могу идти домой? к жене?

Я понял, что опять что-то не так, потому что полковник молчал.

Шпацкий, обогнув какого-то десантника, зашел спереди и сверху вниз уставился на меня.

— Ты что? — тихо, но очень страшно сказал Шпацкий. — Ты в самом деле не понимаешь, что тебе говорят, или ты шутить с нами вздумал? Твоя жена пожертвовала личным счастьем, ради общего пожертвовала всем, что было для нее свято: она принесла это на алтарь. А в это время ты вел себя, как жалкий себялюбец, как подлый трус. Забыв о совести и чести, ты отстаивал свое жалкое, никому не нужное „я”. А теперь ты хочешь вернуться к жене и испортить нам всю игру. Я даже подозреваю, что ты хочешь вернуться к ней не без задней мысли.

— Да-да, — сказал полковник, — разве я не говорил вам, что должны быть достойны?

— Вот, — видел? — сказал Шпацкий и сунул мне под нос свой веснушчатый кулак, — видал, скотина? А теперь катись отсюда на все четыре стороны. Вон туда, — и он показал пальцем вдоль по переулку.

— Да, — сказал полковник, — идите, не задерживайте солдат — солдаты очень устали. Идите, вы свободны.

Я от этой свободы не почувствовал никакой радости, но выбирать не приходилось. Я повернулся и почувствовал, как у меня по лицу текут слезы. Может быть, это и недостойно мужчины — распускать нюни, но я распустил. Мне только не хотелось, чтобы десантники это видели, и я отвернулся и пошел. Но не успел я сделать и трех шагов, как страшной силы пинок в зад сбил меня с ног

на четвереньки. Я инстинктивно сжался, ожидая следующего удара, но больше ударов не было. Двое десантников, вцепившись, повисли на Понтиле. Понтила еще раз замахнулся, но уже не достал до меня ногой: десантники изо всех сил тянули его назад.

— Пустите меня! — ревел Понтила. — Я ему покажу кузькину душу, я ему глаза на затылок переставлю, я ему все ноги повыдергаю из его паршивой задницы (он, правда, другое слово сказал — не задница, но мне уж не хочется повторять все эти гадости), пустите! — орал Понтила, — я оторву ему его гнусные кое-что (тоже не кое-что)! Он у меня будет раком ползти!

Но тут полковник, наконец, опомнился.

— Да держите вы этого крётина! — в бешенстве закричал полковник.

Он подскочил к Понтиле и что есть силы стегнул его стеком поперек лица.

— Идите! Идите же вы! — крикнул мне полковник. — Идите, не будите в людях зверей.

На тупой физиономии Понтилы проступил темный рубец.

Я поднялся и поковылял в ту сторону, куда указал мне Шпацкий. Потом я еще раз обернулся и увидел, как десантники беспорядочной компанией уходят по переулку. Я присел на ступеньки какого-то дома и, уткнувшись лбом в колени, заглох.

Мне опять некуда было идти: выходило так, что жены я был недостоин, хоть я и всей душой чувствовал, что это не так; то есть не то чтобы я был настолько самоуверен, чтобы считать себя достойным своей жены, а просто я понимал, что тут дело вовсе не во мне, а это — ирония судьбы, злая насмешка судьбы, и на этот раз не было даже кота, чтобы разделить мою печаль и одиночество, потому что мой кот уже давно лежал в земле — я был один.

По-видимому, я долго так просидел, потому что, когда я поднял голову, ни один фонарь уже не горел в переулке, а переулок освещался исключительно луной. Но я не от этого поднял голову, а оттого, что совсем близко услышал какие-то шаги, — и от этого я поднял голову.

Они стояли прямо напротив и смотрели на меня, и их приятные лица были освещены луной. Да, их приятные, освещенные луной лица выражали одобрение и симпатию. Я их уже видел однажды, а теперь сразу узнал. Один из них был невысокий черноволосый, с умным и доброжелательным лицом француза; второй был повыше ростом и плотней: он был коротко стрижен. Я посмотрел на них, посмотрел и заплакал.

Я вспомнил, как год назад я вот так же стоял, держа на руках своего покойного кота, и они показывали мне, чтобы я не грустил, разные фокусы; и как они потом, уходя, поклонились мне, как артисты, как настоящие артисты и джентльмены; и теперь они отнеслись к моему настроению с таким же уважением и вниманием и не проявили никакой грубости — одну только вежливость и деликатность.

— Нх плх-аць, — задушевно сказал француз и тихонько дотронулся рукой до моего плеча, — нх плх-аць, нх нх-ад-о плх-акхть, — он погладил плечо моего пиджака.

— Хь гхдэ кхть? — спросил второй, и я сразу понял, что он спрашивает про кота.

— Он умер, — сказал я, подавляя свои рыдания, — мой кот умер — я один.

И как тихое эхо, повторил француз:

— Умрхь!

И тогда я окончательно заплакал.

Они оба немного постояли в нерешительности.

— Их плхчь, — наконец сказал стриженный и, бережно взяв меня под локоть, помог мне подняться.

С тех пор я живу вместе с глухонемыми. Их оказалось довольно большое общество, а не двое, как я раньше предполагал. В большинстве своем это очень симпатичные люди, хотя некоторым из них и не хватает образования. Попав к ним, я первым делом стал осваивать их язык и профессию. Дело пошло, и я уже довольно скоро добился значительных успехов. И что интересно: никогда бы я прежде не подумал, что знание нового языка настолько может расширить кругозор. Мало того, и образ мыслей, и желания, и даже чувства как будто меняются. Но этот язык, очевидно, имеет особенные преимущества перед всеми другими языками. Ну, во-первых, само по себе уже то хорошо, что это беззвучный язык: в общественном месте никакого шума от него нет, и каждый говорит со своим собеседником сколько угодно, никому при этом не мешая. Или, например, в темноте громким криком никого не напугать: сколько не маши руками, все равно никто этого не заметит. Это вежливый язык: разговор на нем возможен только в форме диалога — перекричать друг друга нельзя. Ну, а сравнительно малый словарный запас не дает расплытаться, побуждая сосредоточиться на самых важных вопросах, так что это даже и не малый словарный запас, а, скорей, чистота языка.

Рассуждая на этом языке, а прхшль кхтрье дальнейшее развитие. Я прхмтрл ьчнн мнгхье в свхьй пржхнъй жзнъ, и мне стало ясно, что кое-что я видел предвзято, а на другое просто смотрел чужими глазами. Именно от этого а вдхль тх, чтх прсмшхык нхпрхътъньстх тхк, чтх съзмь отлдрм-прнх избежать.

Но нет худа без добра, и если теперь я многого лишен, то кое-что все же и приобрел. Тхък ъхя нхсълсх пхънхъмхътъ нтрсхъ тельно слхъмкхъ мхж-э-тть бхъдхтсхъ ы очхнъ элсътъя, ктхърхъы этмхъ хх мх-ыы эънхкхмы слхвмх-ы-ы, ктрхы-ы ьны мхъгхът прхъ-стх нхъ стхъ.

И всего-то они знают, что прхшщъ ы дъстхпнхъ мхръ: вхдъ они тхжъ тхгдхъ-а о зимчисте, тхм нхъ мнхъ нхъ прхъдхъ-уть тхътхъ-о хчхът-йъя, чтхъ ъя. Утх-э прхдхтъ лчхтъ мнх ы прхмхмхъ о, мжхъ... Б-хть-хор/сть, но это возможно, *одна из презумпций*, наконец, просто чхлхвхчхс хкхъ ктрмшъ-вркхъ, илхъ ышхш-ъ чтх-нхбхдъ.

Вхдъ онхъ-ы тхгдхъ тхъ энхль хмч хстхкхъ, и тхн нхъ мхн-э-э нхъ прждлхъы этхъмх тхкхъ-ого кхк вхмхжхн-ый *компромисс*.

Прхдстрхъгхающему фнхкцью нхъ обхъдью мзстхъ рхзблчхтъ. Этхт мзръ нхпрхвлхъ нхъ тхъ, чтхъ бхъ зъмххсъртхвхтътъ пдлннхъ хрхктр зов-схстзмъ-ы мнъ-плъ-хэтхчъ-скхъ дхтльнхсть-ы?

Существуют проблемы, которых все равно не решить. Что же касается полковника Щедова, то нжпхръ кхтхръ облхчхтъ ыммхрл-хзмъ ы бзыр-хвствннстх, нх жхстхкхсть абхсрдхнхг-хт пхрх мхль ьн ьтвхчхтъ взхмхъжнхсть ьль-ы ангажированности всх чхлсъ ехмъ схбхъй: трхъ-бхъ, трхъ тхъ-тхъ, ДЖХЪ-РХЗЪ, ДЖХЪ-ДВХЪ, ДЖХ ВСХМД-ХСХТХЪ ДВХЪ, прхвдхъ брхъбхъ, тр-пр, бр-тр, др-фр, иклмнопрстуфхцщещыъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ А Н Т Р Н У

Из цикла «Москва, 1970-1971»

*

Снилось мне, что бабы голосили,
Снилось — от велика до мала
По тебе, умолкшая Россия,
Древние звонят колокола.

Снилось, что в терпении всесильном,
Как Христос, распята и светла,
Ты, молчальница святая, ты, Россия,
Эту ночь со мною пробыла.

*

Престольным столицам — поклон и привет,
И поздравления — тоже,
Что Русь не скудеет и сводит на нет
Цариц, на цариц похожих.

Везут Бабариху в парадном возке,
Ткачиху и повариху, —
Былая царица лежит в столбняке
В бочонке — и на море тихо.

Так пусть на чепец надевают венец —
Авось, как-нибудь и сгодится...

Но снова колено упёр молодец
В смолистое днище темницы.

И вновь ей явиться на красном крыльце
И петь, как не пели сирены —
В солёном венце на соленом лице —
Беловолосой, как пена!

*

Чтоб в твоей Москве
Да со всех сторон,
Как из всех окон —
Колокольный звон.
Чтоб в твоей Москве
Из прошедших лет,
Как живой завет —
Колокольный свет.
Чтобы верх и низ
Словно крест сошлись —
Освятивши твердь,
Отвративши смерть, —
С облаками ввысь,
С куполами ввысь, —
Помолись!..

*

Буду, буду видеть сны я
В неземном порыве!
Будут вороны ночные
Каркать на обрыве.
И как встарь — что изменилось? —
Напророчат хором...

Будут, будет мне их милость
Черным приговором.
Но как, прежде, не склониться
Перед чудотворной,
Не молиться, не излиться
Прохладе соборной.
Или люди уж не те же?
Иль не те же души?..
Может, слушают их реже,
Может, чаще душат.

*

И с улыбкою надменной
На сырых камнях лежал...
Он смеясь бежал от плена,
А от пули не бежал.

Может, так и с той же статью,
Безоглядна и вольна,
Шла без страха на распятье
Эта странная страна.

*

И баба застится с тоскою,
И в чистом поле след колёс,
И мир, обведенный рукою,
Все так же наг, простоволос.

Пока мгновенье не настанет —
Конца или начала миг —
Земля не встанет, гром не грянет,
Не перекрестится мужик.

*

Затем ли, Господи, затем ли
Ты день от ночи отделил,
И жгучим светом напоил
Тебя не видящую землю?

И дух угрюм, и разум слеп,
И сердце рабски безучастно,
Труды насущные напрасны,
И солон пот, и горек хлеб.

Иль твердь небесная пуста,
И души мечутся над бездной,
И правит хаосом беззвездным
Одна великая тщета?

*

Невнятные дни наступили в отчизне,
Невнятные ночи — а спать не дают.
И как отголосок умолкнувшей жизни,
Нет-нет да припомнится детский уют...

Запахнут березою вербные сени,
И вербным куреньем — березовый пух,
И воздух, как колокол в день воскресенья, —
Так полно и явственно слышен вокруг!..

*

...Библейская земля
С высоким, безраздельным, вечным небом —
Вот мысль моя, и воля, и покой!..

И каждый, кто пройдёт по городам,
По узким улочкам, среди лавчонок тесных,
И вдоль горы Масличной, где ходил
Христос, и кто рукой коснётся камня,
Которого когда-то Он касался, —
Тот, может быть, помирится с собою,
Тот, может быть... Как знать!

Но слов боюсь:

Они так плоски... Суть неуловима...

Из поздних стихов

*

И не страшно ли, и не трудно,
И не странно ль было ничуть
Так ребячески-безрассудно
В эту бурную ночь шагнуть?..
Всё доносы — стеною чёрной,
Всё допросы исподтишка.
Облака — и те поднадзорны:
Не туда плывут облака!
Томик Тютчева в изголовье...
Слишком память, видно, полна!
Верой, горечью и любовью,
Как виною, обожжена.
Одиночество, ответ дома
До свидания донести!
Как нас много, в веках знакомых,
Разминувшихся по пути...

Рядом с полем, со влажной пашней,
Старой яблони хрупкий цвет, —
И глядела себе, всегдашней,
Я, сегодняшняя, вослед.
Я всегда была безутешна,
Не отталкивай же руки!
Да и холодно стать нездешней:
Слишком губы сейчас горьки.

Май 1978

*

*Снег пахнет яблоком, как встарь.
О. Мандельштам*

Скрежещут сцепленья
Этапной эпохи, —
Туда да туда...
Отправленье дано.
Но греют ладони
Казённые крохи
Нетронутой пайки,
И зреет зерно.
Двадцатому веку
На то и поэты,
Чтоб яблоком пахла
Морозная мгла,
Чтоб святочным снегом
По чёрному свету,
По алому следу
За шпалами шла!..

*

Я сегодня буду очень маленькой,
Разве что повыше ручки двери...
В тихой-тихой, тёмной детской спальне
Я увижу плюшевого зверя.
Я сегодня буду просто облако,
Будто я давно уже не с вами,
Я с тобой пойду сейчас не под руку,
Просто поплыву над городами.
Память! Ничего не позабудется:
Всё, как было, всё, как есть, с тобою...
Эшелон уходит с детской улицы
Прямо в небо, дымно-голубое.
Машут на прощанье Кати, Сашеньки —
Русских женщин имена любимые,
А ещё любимейшее — Машенька,
Общее, как воздух, неделимое...

Май 1978

Григорий РЫСКИН

Педагогическая комедия

Записки советского учителя

... Серая, остро пахнувшая потом толпа зэков в проходной. Цырики шмонают вовсю. Да вора шмонай не шмонай, а все равно пронесет. Что захочет, то и пронесет: нож, пику, шкворень железный.

В классе, на учительском столе, внушительных размеров автомобильная амфибия.

— Это вашему сыну ко дню рождения. Колеса и винт от батарейки работают. Сами в цеху делаем.

То-то все расспрашивали хитрющие пацаны, есть ли у меня дети: сын или дочь? День рождения когда?

— Спасибо, ребята, да не могу я принять, вы ж стащили.

— Вот чудак-человек, да все же тащат: и мастера тащат, и цырики. Чудак-человек.

— Нет, ребята, большое спасибо. Но не возьму.

— Обижаете, гражданин учитель.

... Цырики шмонают не только в проходной. Во втором отряде сорвали матрацы со „шконок”¹⁹, а там арматурины стальные. Видно, собралась „отри-

¹⁹ Шконка — кровать.

Окончание. Начало см. в „Г р а н я х” № 113. — Р е д.

цаловка”²⁰ бугров мочить. Отрицаловку из классов — в оперчасть: кому „раскруткой”²¹ пригрозили, кого в дизо, кому объяснительную пишу. Главное — локализовать ЧП, чтоб до управления не дошло. А то — беда.

Есть в зоне магазинчик маленький. Туда „выпиской”²² продукты завозят. Магазинчик тот в бытность мою пацаны раз пять взламывали. И не для того, чтоб пожрать. А чтоб удаль воровскую показать. Из любви к искусству взламывали. Школу подломили лишь однажды. В дежурство мое вхожу в здание, а замки все отчинены, железная дверь в учительскую вспорота, на рабочем столе географа доносчика Тереховки — графин, до половины наполненный мочой, а рядом — громадный крендель человеческого дерьма.

— И к-к-куда т-т-только наша оперчасть смотрит! — возмущался на собрании Электрон, чудовищно заикаясь. — Они ж там полдня работали, ээки.

— Не уважают они вас, учителей, — возражал с идиотски серьезным лицом Коля Ганин. — Меня же вот не обокрали.

— Чугунная логика, черт возьми, — вскипел, забыв о заикании, Электрон. — У меня, к примеру, кошелек украли. Подхожу к милиционеру: помоги, говорю, а он-то мне: не уважает тебя вор, не уважает, у меня вот не украл.

— А ты говоришь — советская власть. Вот те и

20 Отрицаловка — ээки, не идущие на компромисс с начальством, тюремные нигилисты.

21 Раскрутка — новый срок заключения, прибавляемый к старому за преступление, совершенное в тюрьме.

22 Выписка — право ээка-малолетки раз в месяц „выписывать” себе продуктов на 9 руб. 50 коп.

власть. Рязанский парень Мишка Буркин в подполковники вышел, в начальники колонии.

На правой руке у Буркина — якорек синий, такой же, как у пацанов. Лицо румяное, чистое, красивое природной русской красотой. Хватит стаканюгу на сабантуе, да как рванет на баяне. Но меру знает, себя блюдет, в открытую с бабами не путается. А их немало, красоток, и в мед-, и в спецчасти, и в бухгалтерии, с ним любая не прочь. Могучий хозяйственный мужик, вот кто он есть — Михал Михалыч Буркин.

Где-то на что-то кобылу выменял. Приставил к кобыле цырика:

— Кормить вдосталь, овсом и хлебом.

— Михал Михалыч, да на ейной спине выспаться можно, до чего раздобрела, — доложил цырик к весне.

— Ну давай, Петь, выводы.

Ребята расчистили, разметали за зоной луговину. Сам Михал Михалыч первую борозду плугом провел.

— Но-о-о, родимая...

Только солнце — на золоченых погонах подполковничьих. Микула Селянинович, да и только.

И пошла работа. Посадили целое поле картошки. Да что там картошка. Стали кирпичный свинарник закладывать. А в зоне денно и ночью, сменяя друг друга, отряды работали: расчищали, укладывали дерном будущее футбольное поле, поливали из шланга, чтоб трава принялась. Трибуны для болельщиков всамделишные — железные, сварные — поставили, ворота футбольные с сетками. Заборы покрасили, фасады заштукатурили, переложили трубы теплотрассы, реконструировали цеха.

Любит Михал Михалыч, чтоб все собственноруч-

но, собственнолично. И не то чтобы любит; знает: сам не догляди, — проку не будет.

— А чтой-то у вас в гальюне все позабывало? Закатывает рукав мундирный, лезет в бачок.

— Гляди, они ж вам туда щепок понакидали, воде ходу нет. Глядеть надо.

— Да разве же за всем углядишь, — оправдывается краснорожий сантехник по прозвищу Сутрапьян.

— Да где ж углядеть-то, где, эка... Ты вон мурло-то залил с утра. Мать вашу, пьянь да ворье кругом, хуже эков, работать не с кем!

В стародавние времена быть бы Михал Михалычу сибирским промышленником-миллионщиком иль волжским воротилой-купцом. А в колонии — что? Можно ведь в сад эдемский зону превратить, план производственный перекрывать, а одно-два ЧП — и „кранты”. Не зачтутся тебе прежние-то заслуги.

Раз в неделю — читка приказов по управлению:

В Калужской ВТК — бунт. Захватили пацаны бульдозер (тоже там умники, мать их туда, додумались — бульдозер в зоне держать!), захватили пацаны бульдозер, снесли к едрене фене все шесть заборов тюремных. И вырвались отряды на волю. Пришлось войска МВД вызывать. Шесть трупов.

А в Новосибирской колонии пацан злобу на школьного учителя затаил. Отточил напильник в цеху да всадил ту пику педагогу промежду лопаток.

Нет, беспокойная это должность — быть начальником детской воспитательно-трудовой колонии, не позавидуешь.

Пробрался как-то Коля Ганин в класс в своей шинели мышинной, уселся за последнюю парту и головой вертит, высматривает. Явился Электрон. Бледнея, вызвал опера:

— П-п-п-ока я здесь директором, сидеть на уроках не будешь.

Ох, не пройдет это Электрону, ох не пройдет: припомнит ему Коля Ганин.

...И язык как-то не поворачивался называть Электрона администратором. Администратор — это что-то отчужденное, враждебное. А с Электронем легко и просто. Электрон строен. Волосы — два крыла русских. Походка летящая. По дороге в зону, где и грузовики-то по ступицу в грязи утопали, Электрон умудрялся пройти, башмаков не запятнав.

— У н-н-нас в-в-ведь какое преимущество, — говорил Электрон, — если эти дурицы, инспектора РОНО, и доберутся до проходной, их все равно не впустят: не положено.

Электрон — консультант по всем зэковским вопросам. Пять лет занимался психологией в каком-то хитром институте, а диссертации не сделал: говорят — история вышла, пришлось уйти. Вот уже десять лет все по школам-зэковкам.

У Электрона всегда *идея*.

— Завтра — „день сознательности”. Дежурство учителей отменяется. За порядком следит актив, — объявляет директор по радио.

И начинаются у мальчишек мечтания:

— А мы всем отделением закурим в классе...

— Вот уж отоспимся на уроках!

— Урюнин Петька, тащи гитару, рванешь под Володьку Высоцкого.

Признаться, мы, учителя, порядком в этот день трусили. Но ничего особого не происходило. А ведь случись что, Ганин по головке не погладит.

Умел Электрон с ребятами, все-то они у него в кабинете возились. Там школьный радиоузел располагался. Никакой пропажи из кабинета не было.

Каждую перемену музыка по динамике мощным коридорным. Заявки сами пацаны составляли. Особенно любила тюрьма песни Владимира Высоцкого.

Коньком Электронным были диспуты. Сам разрабатывал методику, тематику, проблематику.

— Диспут — это поэзия факта, — говорил Электрон.

Но „поэзии“ не получалось. Припоминаю темы Электроны: „ВТК — случайность или закономерность“, „ВТК — волчья стая, так ли это?“, „Почему люди совершают преступления?“.

Диспуты не вытанцовывались. Ребята, да и сам Электрон, все ходили вокруг да около, подлинные мысли свои сокровенные каждый про себя держал. Разговор, замешанный на страхе, на недоверии, проходил как бы понарошку. Нет, видимо, и в самом деле, нельзя заниматься истинным воспитанием, не находясь в полном согласии с правдой. Нельзя проповедовать то, что не исповедуешь.

Часто Электрон впадал в тоску, запивал, неделями не являлся.

— А я ведь последний патрон истратил, — говорил в подпитии, имея в виду трех своих жен, троих детей, на которых алименты выплачивал, бескарьерную жизнь свою. — Непрокий я мужичонка, непрокий...

После очередной „депрессии“ являлся безупречно отутуженный, выбритый, деятельный. Он был блестящий историк. Учебников не признавал. На уроки приходил с томом Ключевского, Сергея Соловьева, Карамзина. Увлекаясь, переставал заикаться. Преподавал курс только до 1917 года. На этой дате история для него обрывалась. Будучи человеком мягким, незлобивым, впадал в бешенство, завидев Ко-

лю Ганина. Явная и тайная война меж ними не прекращалась.

Как-то стали вдруг пропадать из школы шкафы, зеркала, репродукции. Однажды исчезли все динамики, во всех четырнадцати классах. Замки не отчищены, следов никаких: сработано ловко.

Отчаянно заикаясь, клокоча гневом, метался Электрон по зоне в поисках школьного имущества. Но увы...

Он был твердо уверен: не без ведома Коли Ганина те налеты свершаются.

В последний год нашей совместной работы он все тосковал, уходил в эпикурейство:

— Возляжем на травы среди яств и собеседников-любомудров, — говаривал Электрон, располагаясь на майской траве под кустиками в перерывах меж уроками, подальше от постылых заборов тюремных. Он извлекал из портфеля пару бутылок вина, разливал по стаканам, „ловил кайф”. Правда, „собеседников-любомудров” было немного — всего-то я один.

— Иные уходят в науки, — говорил Электрон, захмелев, — иные в искусства, а я вот сопьюсь. Я так решил. Знаете стихи? Принадлежат греческому поэту Агафону. Мои любимые:

Бездельем мы, как делом, занимаемся,
А делом, как бездельем, забавляемся...

Как верно, однако...

„ТЮРЕМНАЯ ПЕДАГОГИКА”

Но есть же и в тюрьме педагогика? И каковы, собственно, ее принципы? Если и есть, то она напоминает „педагогику командиров” Макаренко. Она

напоминает эту педагогику, как скелет с истлевшими останками на костях напоминает живого когда-то человека.

— С активом надо работать, работать надо, — не устает повторять Буркин на собрании.

Опора на актив — главная заповедь тюремной педагогики. Есть даже теория, терминология: „лидер формальный”, „лидер неформальный” и т.д.

Назначит воспитатель пацана командиром, а пацан не тянет. Вот и делает погоду в отряде отрицаловка. Уйдут воспитатели к ночи, и начинается отрицаловка расправу чинить. Бугра головой в толчок да по почкам. Бугор у отрицаловки на поводу. Отрицаловка жуковата: все втихую делает. Вот она, отрицаловка, вернее, ее вождь, и есть лидер неформальный. А бугор — лидер формальный. Задача воспитателя — углядеть крутого умного паренька и заставить на себя работать. Тут, в сущности, сговор негласный: ты — мне, я — тебе. Ты мне — порядок в отделении, в отряде, я тебе — УДО (условно-досрочное освобождение); кроме того, всякие там привилегии: передачу с воли внеочередную, освобождение от школы, мало ли еще что. Все, что в моих силах. Только чтоб порядок полный. Там, где воспитатель не дурак, бугры вовсю стараются: шутка ли, УДО! Главное, чтобы бугры не борзели. А то начнут мордovorоты чужанам носы сворачивать.

Запомнился мне начальник отряда²³. В учительской его называли Димочкой. Он был из семьи старинных питерских учителей. Каким ветром к нам его занесло — неведомо... Отличало его подчеркнута вежливое отношение к ребятам. Самого затравлен-

23 Начальник отряда — офицер МВД, которому подчинены 4 офицера (начальники отделений). Они называются также и воспитателями.

ного и униженного мальчишку по имени-отчеству называл:

— Что это вы, Анатолий Васильевич, режим нарушаете?

Скажет и молчит со значением. И это не было иезуитством, так как был Димочка в высшей степени справедлив. Рукоприкладство в отряде запретил, за матерщину карал, слабого зачуханить не позволял, хотя это ему и не всегда удавалось. И уважали Димочку ребята:

— Дмитрий Юрьевич — человек, слово держит. Не то что иные. К-к-козлы.

Умел Димочка и на место поставить зарвавшегося бугра, а то и сменить. Старался, чтоб все коллегиально, на совете отряда решалось. А начнет отрицаловка борзеть, он ее обезглавит, перетасует: кого в дизо, кого в другой отряд.

В ноябрьские петербургские сумерки, в перерывах между уроками, я приходил к нему в отряд. У него книжка всегда редкая под рукой: Бехтерев, Выгодский, а то и Фрейд.

— А почему бы вам, Дмитрий Юрьич, не заняться наукой? Какой материал, какая статистика! Ведь даже эксперименты возможны.

— Статистика по принципу: чего изволите. А что касается экспериментов, прочитайте-ка лучше вот здесь. И он протянул мне книгу с пластмассовой закладкой: И. Губерман, „Бехтерев”.

„Поставлены были несколькими психологами удивительные в простоте своей эксперименты. Воочию видел человек одно, а говорил под давлением единодушного мнения окружающих (подтасованное мнение, а он-то не знал) совсем другое. опыты такие развивались и усложнялись...”

— Ну и что же?

— А не кажется ли вам, что у этого эксперимента

двести пятьдесят миллионов объектов? Какая уж тут наука. А впрочем, что это мы с вами разболтались. Знаете, что говорили французские полицейские? Они говорили: на каждого мосье есть свое досье. Не будем об этом забывать, мосье.

Нет, явно не шли ему эти свекольные петлицы. И однажды он исчез. То ли сам ушел, то ли его „ушли”. Стройная, строгая фигура его как бы растворилась в пространстве.

Было еще два-три порядочных и образованных воспитателя. Но смотрели они на службу как на явление временное, как на ступеньку к чему-то лучшему, высшему: кто мечтал об аспирантуре, кто — об академии. Но в массе своей воспитатели — люди посредственные, случайные, малообразованные.

„Давить их надо, урок”, — нехитрый педагогический принцип многих.

— Да я ж ноги до самого конца износил, кляча ты понурая, пока тебя по всей зоне искал! — орет, бывало, на унылого чухана разбушевавшийся воспитатель, и сапогом его по копчику, сапогом. И до чего жалко станет этого несчастного, забитого паренька, который, может, за всю свою жизнь и слова доброго, человеческого не услышал. А попробуй вступишь...

— Как проститутки ведут себя некоторые, — скажет угреватый рыхлый лейтенант с КП, первый в зоне матюжник и пьяница. — С зэками заигрывают. Хорошими быть желают. И нашим и вашим. Интеллигенция...

Редкий человек пойдет на воспитательскую работу на 110-130 рублей. Правда, иных мундир офицерский прельщает, эполеты. Войдет это в зону воспитатель в замурзанном своем пиджачишке, а глядишь, через пару месяцев — в мундире, с портупе-

ей, при эполетах. Сапоги хромовые, начищенные, гармошкой. Офицер как-никак. Опять же — успех у женщин.

Вместе с „бомжами”²⁴ и проститутками много их, со свекольными петлицами, стекаются поутру к Московскому вокзалу: вдоль Октябрьской дороги всюду зоны понатыканы. Рядом с армейским офицером уведешника определишь сразу: этакая расхристанность, разболтанность в нем, лицо грубое, плотническое, много среди них алкашей, тайных и явных: дело уж больно непочтенное, оно отпечаток накладывает. Какая уж тут педагогика! Да и может ли быть педагогика в тюрьме?

— Отряд, поздороваться. Три-четыре!

— Здрасьте!

— Запевай! — командует бугор Вадик Кулешов.

И отряд запекает. Идет отряд, печатая шаг, — серая стальная сороконожка. И кулак у Вадика стальной. Вадик — боксер-разрядник. Взгляд дерзкий. Своротил нос менту по пьяному делу, загремел в колонию.

И до чего красивый был парень. Брюки эковские ХБ ушил в обтяжку. Как трико „балеруна” сидели они на его длинных стройных ногах. И казалось, то не ээк вовсе, а танцовщик, исполняющий партию в балете „Педагогическая поэма”²⁵.

Начальник отряда — за Вадиком, как за каменной стеной. Все ему перепоручил, самоустранился. Вадик да кенты Вадиковы правили бал в отряде. Выписка ли, посылка ли с воли — все через их руки проходило. У бугров — рыла ящиком, а чуханы за-

24 Бомж — человек без определенного места жительства, бродяга.

25 Такой балет был поставлен в ленинградском Малом театре оперы и балета.

гибаются. В праздники от Вадика водочкой попахивает. Говорят, повариха ему поллитровки проносила, а он будто бы к ней в укромную каморку похаживал. Да все прощалось ему: в отряде-то без ЧП! Бил Вадик редко, но профессионально. И выбил он как-то ненароком пару зубов Ханову Игорю, за какую-то малую провинность. На глазах у всего отряда. Был этот Ханов Игорь — паренек вроде тихий, неприметный. Да мне он запомнился еще до этой истории. Обратил я внимание на одно его сочинение.

МОИ МЫСЛИ О МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ НАШИХ ДНЕЙ

„Помню летом, в 1973 году, когда мне было пятнадцать лет, я увидел молодого парня в нетрезвом виде, в кармане еще у него была бутылка водки. Пацана я этого знал. Он подошел ко мне и поздоровался. После этого мы пошли в кино, там распили эту водку и пошли на танцы. В общем, день провели отлично. Парень этот очень хорошо работает, перевыполняет норму, работает токарем по третьему разряду. Сам он отлично кончил восьмилетнее образование, увлекается гитарами, магнитофонами, очень любит музыку. Одевается он хорошо, к нему приходят очень красивые девушки. Думаю я так, что парнишка этот ведет самый веселый образ жизни. Он мне еще сказал, что прожить жизнь надо так, чтобы после тебя осталась куча пустых бутылок и толпа обиженных женщин. Лично я тоже думаю так же, как он.

Есть еще такие люди тоже, одет отлично; ну, в общем, у пацана все есть. Помню еще, с таким парнем я пошел в кино. Встретили мы с ним девчонок, своих старых знакомых. Когда он стал нам рассказывать это кино, на которое мы хотели идти, то мне опротивела его речь. Не пойму я таких людей. Или он ставит из себя чересчур умного, или еще какого-нибудь начитанного человека. Вот таких людей я не только не уважаю, презираю. Старому интеллигентному человеку еще простительно, а молокосос куда лезет, я не пойму. И по цели его я даже не советую так жить никому. Скучно”.

Какое, однако, самоуверенное невежество. Вид-

но, жила в этом подростке потаенная гордыня. И замыслил Игорь Ханов замочить своего обидчика. Потом ребята рассказали мне, что в закутке Игорь и тренировался: нарисует на стенке человеческую фигуру и бьет железкой под самое сердце, руку набивает. Видно, понимал: не убей он Кулеша с первого удара, тот его тут же и замочит.

И вот улучил Игорь момент. Отряд высыпал во двор, на обед строиться. А накануне послал Игорь пацана в хлеборезку, за тесаком хлеборезным, хоть хранили тесаки за семью замками, да, видно, ловкий был чуханок: пронес тесак.

— А теперь поди вызови Кулеша.

А тот всегда в воспитательской, у начальства ошивался. Со всеми лейтенантами запанибрата. И вызвал чуханок бугра. А Игорь Ханов с тесаком хлеборезным за дверью спрятался. И распахнул дверь Вадик Кулешов.

— Кто меня спрашивал?

— Я!!!

И всадил Игорь тесак Вадиду под самое сердце. Говорят, тот успел нож из раны вырвать, до раковины туалетной добежал, кран открутил — видно, рану в горячке омыть хотел, а потом осел на колени, да так и остался стоять.

А Игорь Ханов вышел к отряду бледный и объявил:

— Я сейчас Кулеша замочил...

Все рассчитал Игорь. Знал: „вышки”²⁶ за мокрое дело не будет. Восемнадцать должно было ему через два месяца стукнуть.

26 „Вышка” — высшая мера наказания, расстрел. Несовершеннолетние убийцы к „вышке” не приговариваются, им десять лет дают.

Немые, мертвые слова
Распяты в гимнах и докладах,
Немые мертвые слова
В ночи распяты на фасадах.
Кричат с газетного листа,
Когда ночной неон потушен,
О том, что отняли Христа
И Люцифер похитил души
Людские
и царит отныне,
Холодный не отводит взгляд.
И Люциферовой гордыней
Глаза у мальчиков горят.

ТАТУИРОВКА

Даже самый зачуханный чухан, выйдя на волю, скажет: „На кого батон крошишь, ворона. Я срок тянул, я пайку хавал”.

И как подтверждение эковской доблести — татуировка. Без татуировки — зэк не зэк.

В восьмом классе на первой парте задремывает пацан. На веках синие крошечные букочки: „не буди”. Подхожу. Вздрагивает, глядит осклабившись. В эковской школе разрешаются всякого рода отступления от урока: нравоучения, беседы, проповеди.

— Представь, ты умер, лежишь в гробу. А на веках: „не буди”.

— Ну и чего?

— Люди не плакать, а смеяться будут.

— Ну и чего?

С татуировками борются. Но безуспешно.

Вор-малолетка Коля Рогов стаскивает с себя робу ХБ: на жалких костлявых плечиках — черниль-

ные эполеты с густыми кистями, на хилой груди: „In vino veritas”. Соревнуясь, парнишки демонстрируют мне свои наколки. Какая чудовищная галерея, какая отчаянная безвкусица: тельняшка, наколотая вкривь и вкось, веселый, во всю спину, черт, сочетающийся в любви с полнотелой ведьмой, карты, ножи, бутылки. Но бывают татуировки особого рода. Смысл их понятен лишь посвященным. У крохотного старообразного воришки Коли Алексеева, по прозвищу Морщинка, — ни одного незаполненного местечка.

— Коля, а что означает вот это слово: *колос*?

— Коммунисты, остановите Леньку, оборзел совсем.

— А *пион* что означает?

— Проснись, Ильич, они наглеют.

На плече под пробитым финкой погоном — слово *слон*.

— Смерть лягавым от ножа, — со всей серьезностью, как и подобает на уроке, объясняет Морщинка.

Я прочитал им новеллу японского писателя Дзюньитиро Танидзаки „Татуировка”:

„В то время жил необычайно искусный молодой татуировщик по имени Сэйкити... Кожа десятков людей, словно шелк, ложилась под его иглы. Немало работ из тех, что снижали всеобщее восхищение на смотрах татуировок, принадлежало ему. Дарума Кин славился изяществом ретуши, Каракуса Гонта яркостью киновари, Сэйкити же был знаменит непревзойденной смелостью рисунка и красотой линий. Прежде Сэйкити был художником Укие-э школы Тоякуни и Кунисада. И после того, как он оставил живопись и занялся татуировкой, прежние навыки давали о себе знать в изысканности манеры и особом чувстве гармонии”.

Сэйкити изображает на спине прекрасной гейши паука Дзера.

„Чтобы сделать тебя прекрасной, — говорит Сэйкити, —

я вложил в татуировку всю душу. В Японии нет женщин, достойных сравниться с тобой”.

Дзюнъитиро Танидзаки был принят эками с интересом. Никто не посмел возвысить голос, когда я заявил, что их татуировки вовсе не татуировки, а жалкая синюха.

— Прежде всего, они в высшей степени неэстетичны, — сказал я. — Какой отвратительный цвет. Цвет венозной крови. Цвет удавленника. И рисунок критики не выдерживает. Заметьте, прежде чем заняться татуировкой, Сэйкити долгие годы посвятил живописи. С какой ответственностью прикасался Сэйкити к человеческой коже, а вы подставляете свою под иглу любого бездарного фраера. Да и с житейской точки зрения, татуировка — глупость. Если у преступника хоть одна извилина есть, он не может не понять: татуировка — это примета. А теперь представьте себе такую ситуацию: вас полюбила красивая девушка из хорошей семьи, приглашает домой познакомиться с родителями. По бокалам разливается шампанское. И вот вы протягиваете руку с наколотыми на пальцах синюшными эковскими перстнями иль с чернильной розой. Редкая мать не заинтересуется прошлым такого женишка. И вообще женщина, у которой есть хоть капля эстетического чувства, не может не испытывать отвращения к мужчине с чернильным орлом во всю грудь, влачащим в чернильных когтях чернильную женщину.

Речь моя была пространной и взволнованной. Я рассказал им кстати и о нацистских зондеркомандах, занимавшихся в концлагерях заготовкой и выделкой татуированных человеческих кож.

Результаты оказались неожиданными. Через день, пробегая по зоне, я заметил Морщинку — Алексе-

ева. Стиснув зубы, он „выводил” с помощью лупы синий якорек на руке. Пахло жареной человечинной.

Меня всегда поражало, как стоически они переносят боль. Пренебрежение к боли входит в кодекс эковской чести. Помню перевязанную грязным бинтом руку Миши Крылова. У Миши лупы не было. Он взял бритву и вырезал своего чернильного ангела прямо по живому.

— Можно ведь и без руки остаться.

— Ничаво. Заживает только плохо, загнивает. Витаминов нету в крови.

Я уж и сам не рад был, что затеял эту кампанию. Того и гляди, зафуганят меня фуганки: придется Коле Ганину объяснительную писать. Но не зафуганили. Эпидемия самоистязаний вроде бы на убыль пошла. Только как-то утром вхожу в класс, а на бледном лбу чухана, взмокшего от ожидания беды неминуемой, буквы синие наколоты: *Раб КПСС*. Тот будет теперь забот оперу Коле Ганину.

Я не раз замечал эту татуировку. Именно на лбу замечал: крохотные синие букочки у самого основания волос. А вот чтоб через весь лоб — впервые увидел. Видно, пацан пари держал да свой лоб и заложил. Вот и разукрасили человека. Только он во век не скажет, как дело было.

Имеют ли подобные надписи серьезное значение или это всего лишь забавы эковские? В чем здесь дело?

Малолетние заключенные в массе своей (о взрослых говорить не стану, так как на „взрослянке” не работал) считают себя несправедливо наказанными государством. Да и в самом деле: изолируя человека, лишая его неба, солнца, свежего воздуха, общения с землей, растениями, животными, государство осуществляет акт мести. Оно, в сущности, действует по принципу: око за око, зуб за зуб.

„Уголовно-правовая доктрина отмщения имеет таким образом историческое основание в том смысле, что уголовное наказание, ныне еще употребительное, представляет собою историческую трансформацию первобытного принципа кровной мести”²⁷.

Потому-то зэк интуитивно не принимает, а порой открыто ненавидит государственные установления, его идеологию, иногда даже не умея связно сказать об этом.

... Так ничего и не доискавшись, решила опере часть отправить несчастного чухана в больницу тюремную, чтоб вырезать хирургическим скальпелем тот позор. Больница тюремная на улице Газа помещается. Про нее так и говорят: „Где был?” — „На Газе был”. — „Куда увезли?” — „На Газу”.

Только месяца через полтора является чухан после операции. Присматриваюсь, а шрамы на лбу все в ту же надпись слагаются: *Раб КПСС*.

ВОДОЧКА

— Водочкой давно балуешься? — как заведенный, спрашивает замполит, принимая очередной этап.

— С десяти лет.

— С семи.

— С тех пор, как себя помню.

Но верить зэку не всегда следует. Зэк-малолетка и пофорсить любит.

— Забалдели с кентами, поймали кайф, рогами в землю.

Тут статистика нужна. Да и не всякой статистике

²⁷ В.С. Соловьев. Собр. соч., т. 8. — СПб., 1913 г., с. 340.

можно верить. Но кой-какие цифры привести следует:

„Среди состоявших на учете в милиции злоупотреблявших алкоголем подростков 40 процентов начали выпивки в возрасте 11-13 лет и лишь 20 процентов в 16-17 лет. Среди них 38 процентов происходило из неполных семей — выросли с одинокими или разведенными матерями”²⁸.

— А почему все-таки пьете, ребята? — задаю в одном классе риторический вопрос.

— Чтоб кайф поймать.

— Выпьешь — веселей на душе.

— Соберутся ребята и чтоб не выпить?..

— Откажешься, скажут: баптист какой-то.

— А что чаще пьете: водку или вино?

— Вино.

— Водка невкусная.

— Валит быстро.

Вино рассматривается как необходимый атрибут культа развлечений. Выпивка почти всегда осуществляется в группе асоциальных сверстников. Едва ли не 90 процентов всех преступлений пацан совершает в подпитии. Через выпивку он приобщается к миру взрослых. Бутылка в руках — знак мужской доблести. С беломориной в зубах, окруженный сверстниками, гордо несет он по улице, чтоб все видели, „фаустпатроны” с Рубином, Волжским и прочей дешевой „барматухой”. Каждый такой фаустпатрон выпущен ему в печень: вино скверное, некондиционное, таким только заборы красить. А что ему, пацану? Зато кайф.

— Пили, пьем и пить будем, — заявляет пацан. — Потому как все пьют.

²⁸ А.Е. Л и ч к о . Психопатии и акцентуации характера у подростков. — Л., 1977, с. 54.

„Бог умер — вот основа новейшего быта, — писал Николай Бердяев. — В молодежи, как образованной, так и народной, чувствуется демоническое настроение в самом плохом, самом некрасивом, но подлинном смысле этого слова. Это нигилистическая опустошенность духа, потеря смысла жизни и ценности человеческого лица. Процесс духовного разложения всегда сопутствует революции, но иногда бывает симптомом зарождения нового религиозного света. Без Бога не может жить народ, разлагается человек”²⁹.

Традиции пьянства на Руси — много лет. Спивается ныне и „гегемон революции”. Много тому причин. Человек пьет от беспросветности, от внутренней дисгармонии. Тут и вина депсихологизированной нашей школы. Она не помогает человеку разобраться в себе: сориентироваться как морально, так и профессионально. Из-за отсутствия научно поставленной профориентации человек зачастую занимается делом, не свойственным его природе. Внутреннего стимула к труду нет, да и просто материального стимула: в стране есть громадные ареалы, где ничего, кроме бутылки водки, не купить. Какой же смысл работать? Отчуждение человека от труда делает труд постылым. Чрезвычайно обедненный, пониженный уровень среднего образования, мощный аппарат пропаганды, навязывающий примитивную жесткую идеологическую схему, убивая в большинстве душ религиозные нравственные ценности, не дают взамен никаких иных. Жизнь уныла, однообразна, бесцветна. Человек осознает свое бессилие изменить ее, так как начисто от политической жизни отстранен. Единственный способ обрести гармонию — опьянение.

Но есть еще один аспект у этой темы. Властям в какой-то степени выгодно низвести человека до та-

29 Н. Б е р д я е в . Духовный кризис интеллигенции. — СПб, 1910, с. 59.

кого состояния, чтоб только — „телевизор да бутылка”. Посади его — такого — в танк: „Круши, Федя, венгров!, „Круши, Федя, чехов, круши!” И пойдет крушить Федя: „Кого хошь сокрушу!”

Опять же ему, Феде, про него самого все объяснить можно. „Отчего, Федя, живем хуже, чем хотелось бы? Пьем много, прогуливаем. Скажи: где, в какой капиталистической стране можно так вот прогуливать, гнать сплошняком брак? А ты говоришь — не гуманисты мы. Ведь у капиталиста, Федя, вкалывать надо. А ты погляди: сейчас только обеденный перерыв, а ты уж мурло залил”. Попробуй пикнуть Федя об улучшении условий труда, о повышении заработной платы...

У советского рабочего нынче сорокадвухчасовая рабочая неделя. Вроде бы благо...

Но „далеко не всякое сокращение рабочего дня, обеспечивающее не отдых, но и досуг, является безусловным благом. Нужно не только хозяйственно, но и духовно дорасти до короткого рабочего дня, умея достойно употребить оставшийся досуг. Иначе короткий рабочий день явится источником деморализации и духовного вырождения рабочего класса”³⁰.

„Его величество рабочий класс” мог бы вслед за горьковским Актером сказать: „Мой организм отравлен алкоголем”. Алкоголизация населения достигла грандиозных размеров. Алкоголиков — миллионы. Любой праздник превращается в пьяную вакханалию. Резко возрастает количество травм и преступлений. В толпах, у винных магазинов, у пивных ларьков, рождается своя терминология, мифология, своя „идеологическая надстройка”. Есть здесь свои ораторы и герои.

³⁰ С.Н. Булгаков. Христианство и социализм. — М., 1917, с. 15.

— А на Литейном сегодня маленькие давали.

— А что-то „коленвала”³¹ давно не видать, мужики?

— А мы вчера с корешом десять бутылок барматухи на двоих высосали и — ни в одном глазу, только ноги в щиколотках распухли. С чего бы?

Вспоминают и о делах давно минувших:

— При Ёське-то чего только не было: и „Спотыкач”, и „Зубровочка”, и „Горный дубнячок”.

— Ты скажи, закусь какая была, едри твою в качан, — говорит веселенький, бодренький старичок из состарившихся мелких хулиганов.

— А у меня братан в Саратове. Бутылку примет, а закусить нечем: в магазине ни сыру, ни мяса, ни колбасы. Так что ж стервец придумал. Смастерил из лесы петельку. Окно раскроет, хлеба на подоконник накрошит, голуби и слетятся. Он цап голубка... Выпьет, голубком закусит...

— А у меня в коммуналке тараканы. Оставил как-то полбутылки барматухи на опохмел. Утром гляжу: тараканов в бутылке полным-полно. Вот тебе — тараканы, а выпить не дураки. Выбрасываю бутылку, а сосед: „Ты что?” — говорит. Взял бутылку, процедил через марлю, и хоть бы что. Выпил, утерся.

— А у нас на Калининском рынке тоже случай был. Три алкаша краски черной спиртовой, чем мебели красят, по стакану приняли. Во! зачумели-то. Утром просыпаются — рожи черные, как у негров. Месяц потом отходили.

— Мужики, а что если бы завтра бутылка водки — червонец?..

— А мы привычные, нас не запужаешь, — откли-

³¹ Коленвал — водка, на этикетке стояла надпись „Водка”, напоминавшая по форме коленчатый вал.

кается веселенький старичок. — Мы привычные, мы всё выдюжим.

В этих балдеющих человеческих стадах немало подростков — в свои пятнадцать-шестнадцать лет — уже алкоголиков. Попав в зону, такой подросток идет на все, чтоб „поймать кайф”. Подломив школу-зэковку или ПТУ, он устремляется прежде всего на поиски спирта. Он похищает на производстве банку бензина и нюхает, нюхает до обалдения: „ловит кайф”. В бытность мою было несколько трагических случаев. Вынося под бушлатом банку с бензином и закурив на ходу, неопытный парнишка вспыхнул, как факел.

Бывали истории прямо-таки детективные. Условившись с верным кентом, вышедшим на волю, о месте и времени „операции”, пацан, рискуя „раскрутку схлопотать”, ждет „подарка с воли”. В условленный час мощным броском через заборы перебрасывается резиновая грелка с водкой. Тут уж — „великий кайф”.

... Вот и закончился учебный год. Кто по звонку на волюшку уходит, кто — „на химию”³². Кто-то сейчас пивко потягивает, а кто и винишко. Трудно удержать ребят весной и летом, когда глядит поверх заборов Зеленый Прокурор³³. У Электрона опять „идея”:

— Надо построить посреди футбольного поля пивную будку. Выстроить зэков в очередь. Но чтоб каждый только по кружке выпивал. Принял кружку — за новой становись. Так бы до первого сентября и простояли.

32 Уйти на химию — уйти на поселение (обычно на предприятия химической промышленности).

33 Зеленый Прокурор — весна.

ТЮРЬМА КАК БЫТ

Уж так человек устроен. Все для него становится бытом: война, тюрьма, сами муки ада. Ко всему привыкает человек.

— П-п-падъем! — орут по спальням бугры. И летят зэки со шконок.

Меня всегда поражала аккуратность зэковской шконки, белизна простыней, сменяемых всегда в срок. И вообще следует признать: в спальнях отрядных — всегда порядок. Полы и гальюны драились постоянно. А в лучших отрядах керзянки свои ребята у самых дверей оставляли, чтоб не наследить. В тапочки специальные переобувались. А все оттого, что какая там комиссия-раскомиссия ни нагрывает, а все на внешность глядит. Все тот же фасадный принцип. Да ведь и драить всегда есть кому. Провинился зэк — тряпку в руки, мой полы, драй унитаза. Но ни бугор, ни кенты бугровы, ни отрицаловка черную работу делать не станут. Им — „за падло”. А чуханы для чего? Чухана за загривок: а ну, падла, скреби унитаз, не то вырублю. После зарядки, заправки шконок (опять чуханам работа) — построение. Оно — три раза в день. Смысл построения — учет. Тут уж пошевеливайся, бугры, знай, где кто у тебя. А кто неведомо где, — искать немедля. Вдруг в побег ушел. Побег для начальства — самая большая беда. Отряд всех благ из-за бегуна лишается. Лютая казнь ночная ждет в отряде пойманного бегуна. Он ее больше раскрутки боится. Побегии случаются, редко, но случаются. При мне побег был один.

Удалось жуковатым пацанам сигнализацию отключить. Два зэка доски через заборы перекидывать стали. На волю-вольную вырвались. Да далеко не ушли. Хватились сразу. Тревогу — по всей окру-

ге. На ближней платформе железнодорожной повязали голубчиков.

За побег раскрутка полагается: суд, новый срок к старому. Потому разумный парнишка не побежит. Уж лучше до „звонка” дотянуть: сроки на обычной зоне невелики, другое дело — „усилок” да спецрежим. Там, может, есть смысл бежать, а здесь — никакого резону.

Был при мне и такой случай. Отряд из промзоны к себе шел. Один чухан в ящиках за цехом засел: по трубам теплотрассы, через заборы перекинутые, решил уйти. Да в отряде хватились.

— Искать его, суку!

— По стенке размажем!

Отряд искать рассыпался. Чухан, казни испугавшись, хватя кусок провода, через трубу перекинул да в петлю. Теплою из петли вынули, да поздно. До управления дошло. Все показатели испортил, чертов чухан...

Вот почему так часты построения в зоне. А после построений — прием пищи.

О еде следует сказать особо. Еда называется „хряпа”, потому что во шах тюремных чего только не найдешь, даже хряпу капустну. Все, кроме мяса. Куда мясо деваается — неведомо. То ли дежурные хватают куски и заглатывают, то ли цырикам достаются — не разберешь. Повара все вольные. Но из зоны не унесешь: как-никак досмотр в проходной. Потому повара и меняются часто. Какой же смысл у котла стоять да не воровать?

Миски — железные, сальные. Еда невкусная. Зэк всегда страдает изжогой. Одна отрада — выписка. Она раз в месяц. Почти на червонец имеет право зэк закупить курица и жратвы. Хоть и обсчитает, обвесит продавщица, а все радость. Тут уж пир го-

рой. Белый батон разрезается вдоль, сверху — толстый слой масла, поверх — сельдь чищенная. Потом варенье, сгущенка. В день выписки ребята животами страдают. Тот бледен, тот за вспученное брюхо держится, всю школу облюют. Но выписка — дело законное. Тут уж вынь да положь. Зэк свои права знает. Опять же перекур — он тоже малолетке по закону положен.

На большой перемене отряды на перекур высыпают. В холодное время на школьных лестницах дозволено курить. Могучий махорочный дым плывет в коридоры. Перекур — это ритуал, священное действие. Курят все. Некурящих в колонии не бывает. Несolidно. У всех лица серьезные. Все друг к дружке с уважением: чухан ли, бугор. „Дай-ка прикурить...” Через ритуал курения зэк приобщается к тюремному мужскому братству. Спрашиваю у пацанов:

— Отчего в колонии курят все?

— Курево голод заглушает.

— Согреваешься от затяжки.

— Видите ли, — объясняет интеллигентный Коряков, — курение — источник удовольствия, а их у зэка не так уж и много: курево, выписка, ну разве еще сон.

Кстати, о сне. Зэка всегда клонит ко сну. Ведешь урок. Вдруг слышишь в углу могучий зэковский храп. Зэк задремывает на уроке, в ленинской комнате, во время толковища, в кино, даже стоя на построении задремывает. Говорят, от авитаминоза.

— Витамины давать? Какие еще там витамины! Уркам! Скажете еще!

По четвергам — банный день. По четвергам зэк не работает, не учится. Приближение банного дня чувствуется по нарастающему уже с понедельника специфическому чесночному запаху, идущему от

плотной массы немых самцов. В банный день можно расслабиться, почитать в уголке укромном. Опять же кино привозят в банный день.

А в будни, когда школа да работа, у зэка „личного времени” — в обрез. Так вот и идут — день за днем, неделя за неделей, год за годом. Но зэк никогда со счета не сбивается: всегда знает, сколько деньков ему до звонка остается.

АМНИСТИЯ

— А вы что, не слышали? Сегодня в „Известиях” — указ об амнистии, в шесть утра по радио передавали, — сообщает Игорь Витчик.

Игорь рыж. Череп, стриженный под нулевку, излучает рыжее сияние. На конопатом лице — отпечаток гордой мудрости:

— Эх вы, учитель... Радио не слушаете, газет не читаете.

— Позор, гражданин учитель.

— Вот так учитель!

Устыженный, бегу на перемене в библиотеку. Листаю подшивку „Известий”. Сегодняшний номер, вчерашний, позавчерашний — никакого указа.

— Игорь, а ведь в „Известиях” указа-то нету.

— А нам мастер сказал.

Ничего такого мастер им не говорил. Просто слух об амнистии имеет способность самозарождаться. Зэки уверены: к тридцатилетию *победы* непременно будет указ.

— Зуб даю, если в марте амнистии не будет, — говорит осмелевший чухан. — Два зуба даю. Не будет амнистии — вот эти два передних зуба выбейте мне, пацаны.

А кто-то в каком-то отряде жизнь свою заложил.

— Не будет амнистии — повешусь.

— Мы тебя, козла, сами повесим, если указу к весне не будет.

— Они повесят, — подтверждает Игорь Витчик, несколько не смущаясь давешней своей промашкой.

Игорь мудр. Игорь книгочей. Единственный человек, которому я разрешаю книжки на моих уроках читать. Сейчас он читает „Павлов и Фрейд”.

— Я как выйду по амнистии, сразу женюсь.

— А невеста есть?

— Ждет не дождется. Тоже рыжая.

— А не рано жениться?

— В самый раз. Во-первых, акселерация. Во-вторых, Фрейд. Он что говорит: преступление — это сублимация либидо, половой энергии. Чтоб пацан не совершал преступлений, нужно либидо в нормальное русло направить. Я б вообще не судил малолеток, а выносил решение — женить.

— Ну что там, на воле, указу не слышно?

— А сегодня в „Известиях”...

С этого начинается каждый день накануне амнистии.

И появился-таки указ в газете „Известия”. В один из весенних солнечных деньков появился.

— Выходи, пацаны, на построение.

— Из управления приехали. Указ читать будут.

И подполковник из *Управления* зачитывает указ. Эка-малолетки кричат „ура!” „и в воздух чепчики бросают”. Подполковник говорит о партии и правительстве, о гуманности советского государства. Все, как положено.

— Д-д-да к-к-к-акая, к чертям, гуманность, — объясняет Электрон, перевидевший немало амнистий. — Т-т-тут политика. Колонии детские переполнены. У нас, к примеру, зона на 600 эков, а наби-

лось 900 рыл. Вот и спускают пары. Новые детские тюрьмы строить вроде бы неприлично.

Но *амнистия* есть *амнистия*. Она как светлое Христово Воскресенье. Вот и первые освободившиеся приходят с кентами прощаться. Вежливо стучит костяшкой в дверь: „Тук-тук-тук”. Входит в одежке своей, вольной.

— Гражданин учитель, разрешите с ребятами по-прощаться.

Кому лапу жмет, кого обнимает по-братски. Стоят, упершись лбами. Долго стоят. Трогательная это сцена, ей-Богу. Самого аж слеза прошибает. Толстая, добродушная математичка Федотова стоит в дверях, платочек к глазам прижимает:

— Беритесь за ум, мальчики, не попадайтесь, теперь поумней стали.

Только один человек ко всему безучастен. Положил голову на парту, ватником укрылся. Даже самый придира-учитель не скажет ничего ему. Этот до звонка остается: у него тяжелая, под амнистию не подходит.

С каждым днем, по мере того как пустеет класс, все безучастней его взгляд, все бледнее, суше лицо. Кузнецов — его фамилия. Сережа Кузнецов, цирковой акробат.

— У них там в цирке, — поведал мне воспитатель, — бывают нижние акробаты и верхние. Нижние что битюги, здоровы бродяги. Всю пирамиду такой на себе держит. Так вот у них в бригаде акробатской битюг был педераст. Зажал он как-то на кухне Кузнечика нашего. А Кузнечик под руку мясорубка подвернулась. Череп до самого мозга битюгу раскроил. Тот сразу концы отдал. Может, Сережке срок бы поменьше дали, да он в горячке труп в подвал оттащил. А парень — замечательный, совестливый. Сам себя почище прокурора терзает.

Таких, со статьями тяжелыми, человек пятьдесят на зоне остается. Опустеет зона. А как белые мухи полетят, опять попрет пополнение. Этап за этапом. Машина-эковка, с кузовом стальным, с мигалкой зеленой, успевай только подвозить.

Придите через три-четыре месяца после амнистии в Кресты, тюрьму следственную. И вы воскликнете: „Знакомые все лица!“ Вы узнаете бывших своих учеников, совершивших новые, куда более тяжкие преступления. Вы убедитесь: тюрьма не исправляет, а развращает. Истина эта высказана еще автором „Записок из мертвого дома“. Но пока не выработано иного метода наказания, кроме как изоляция преступника. Здесь — квадратура круга.

„Если можно допустить только, — считает Владимир Соловьев, — что некоторые из преступников неисправимы, то никто не имеет возможности и права сказать заранее с уверенностью, принадлежит ли данный преступник к этим некоторым, а потому должно ставить всех в условия наиболее благоприятные для возможного исправления. Первое и самое важное условие есть, конечно же, чтобы во главе пенитенциарных учреждений стояли люди, способные к такой высокой и трудной задаче, — лучшие из юристов, психиатров и лиц с религиозным призванием³⁴“.

Стояли ли когда-нибудь лучшие во главе подобных учреждений? Стоят ли они сегодня? Будут ли стоять в будущем?..

КРЕСТЫ

— Тебя откуда привезли?

— Из *Крестов*.

34 В.С. С о л о в ь е в . Собр. соч., т. 8. — СПб., 1913, с. 360.

— Так мы с тобой в *Крестах* и виделись, ай не помнишь?

— И помнить не хочу.

... Кресты — тюрьма следственная старинная, по принципу американских филадельфийских тюрем построенная. Два здания — два креста каменных, на невском берегу, у самого Финляндского вокзала. Неподалеку от Крестов — Ильич на броневике, рукой бронзовой дорогу в коммунизм указывает:

Вел в эдем рукотворный,
А завел-то в острог.

О каких только унижениях человеческих не расскажут вам ребята, ожидавшие в той следственной тюрьме решения своей судьбы.

— Когда меня в Кресты на галерку малолеток привезли, в камере уже пятеро сидело. Ох и устроили они мне „прописку”³⁵. Только искры из глаз. Ну и отметелили. Потом сами с пола на шконку поднимали.

— А у нас в камере здоровый был такой пацан, по кличке Ряшка. Мог любому почки опустить. Крикнет бывало: „На толчок меня!” Мы должны были его на руках на унитаза тащить. Ряшка этот все одного пацаненка изводил. Курит Ряшка на шконке, нужно ему пепел стряхнуть. Он и крикнет: „Эй, пепельница!” Пацаненок подбежит, рот, как галчонок, раскроет. Ряшка ему пепел в рот стряхивает, а то плюнет в рот Пепельнице. Вот до чего человека опустили.

— А то еще отсос заставляют делать. Есть такие пацаны, по кличке вафлеры. Вафлера под шконку, в рот ему член: „А ну делай отсос, сука, а не то по почкам”.

35 Прописка — избивание новичка, ставшее традицией.

В минуту откровенности многое могут порассказать ребята о той тюрьме следственной, под названием *Кресты*.

— Спрашиваете, чем наколки в Крестах делаем? Резину жженую разведем, вот и тушь. А где резину берем? От каблука.

— А то еще хохма есть в Крестах: мыльный пузырь к смотровому глазку подведут. Цырикам все в перевернутом виде представляется.

Брошенный в каменный кубрик камеры, лишенный солнца и свежего воздуха, страдая и мучая других, проходит здесь подросток курс тюремных наук: школу разврата и унижений. И странное дело: за обществом признается право ставить подростка в условия развращающие, того самого подростка, которому, как никому, нужны условия морализующие.

Он мастерски бьет, этот питерский Ряшка,
Под дых и под сердце, по почкам с оттяжкой:
Чтоб кровью мочился, до гроба лечился,
Чтоб искры и молнии мозг осветили,
Чтоб рухнул к ногам его грудой утиля.
Лежишь на бетоне, притихший, негордый,
И видится конь с окровавленной мордой.
Он шею закинул, трепещет, бедняжка,
Но вот над конем появляется Ряшка,
Вот конскую шею он вяжет узлом,
И солнце над миром — бубновым тузом.

*Ленинград,
1977-1978*

Охотник вверх ногами

*

„Когда ты уходишь, — сказала мне мать, — Аннет роется у тебя в столе”.

Я раздраженно буркнул, что нельзя давать волю ненависти и походя обвинять человека черт знает в чем. Аннет роется?

(Многие годы эта женщина была моей женой.)
Разумеется, мать права. И я это знаю...

В моей московской квартире сразу звонили два параллельных телефона, и ни один не отключался, когда снимали трубку в другой комнате.

Аппарат зазвонил у меня на письменном столе. Я снял трубку на какую-то долю секунды после Аннет, ответившей из спальни.

— ... Но я вас не знаю...

— Вы знаете Ивана Степановича. Я его заменяю.

— Мне сейчас не совсем удобно говорить.

Она подозревала, что я могу слушать. Ее молодому, неопытному собеседнику это, однако, не пришло в голову. Он не только повторил свои имя и отчество, но еще дал свой новый номер телефона. Три первые цифры принадлежали подстанции КГБ.

Отрывок из книги, выходящей в издательстве „Посев”. —
Р е д .

Зачем я записал имя и номер телефона? Разве я собирался что-то предпринять?

Когда, окончив свой короткий разговор, Аннет под каким-то предлогом вошла ко мне в комнату, я спокойно работал за столом, телефонная трубка лежала на месте и ничто, казалось мне, не указывало на то, что я слышал разговор. Я даже лениво-равнодушно спросил: „Кто это звонил?“ И услышал спокойный ответ: „Звонили с работы, напоминали, что завтра запись в два тридцать“.

Оставшись снова один, я достал из кармана записку, отыскал в ящике стола футляр от авторучки, вынул подкладку, положил под нее записку, вставил подкладку на место, засунул футляр поглубже в ящик, завалил его всякой всячиной и запер ящик стола на ключ.

На следующий день, вернувшись с работы, я отпер ящик, достал футляр от авторучки, вынул подкладку. Записки с именем и номером телефона не было.

Разговор наш был тяжелый, медленный и, разумеется, я оказался обороняющейся стороной. Аннет была совершенно спокойна и не думала что-либо отрицать. Обыски в моем столе? Мелочь, не стоящая упоминания!

— Не притворяйся и не играй в оскорбленную невинность. Ты знал. Ты все время знал!

Знал? Не знал? Не мог не знать? Мог ли не знать!

— Вспомни, ты мне сам сказал: „Посмотрим, кто будет дружить с Аннабеллой“.

*

Это был, наверное, конец 1949 года. Переводчиков журнала „Новое время“, где я подрабатывал, собрали на экстренное совещание. Поступило рас-

поряжение сверху дать приложением к журналу на всех главных европейских языках — по-английски, по-французски, по-испански и по-немецки — только что вышедшую стотысячным тиражом в издании „Литературной газеты” книгу Аннабеллы Бюкар „Правда об американских дипломатах”. На титульном листе значилось: „Перевод с английского”.

Старший переводчик английского издания Левин (я с ним позже работал в Праге) сразу возликовал: — Мы-то, надеюсь, дадим приложением оригинал.

Начальство игнорировало его реплику. Проводивший совещание заместитель главного редактора отрезал сухо:

— К переводу приступайте сегодня же!

Чуть ли ни день в день было выпущено тогда несколько аналогичных книг. Лейтмотив: „Не могу молчать!” Сотрудники различных иностранных посольств разоблачали в них свои правительства как заговорщиков против мира и просили, — правда не всегда, — политического убежища в СССР. Автора одной из таких книг, французского дипломата Жана Катала, написавшего книгу „Они предают мир”, я немного знал, встречал его на радио.

В то же примерно время в доме напротив нашей тогдашней квартиры в Воротниковском переулке появилась новая, заметная жилища.

Высокая, с длинными светлыми волосами, в темных очках, элегантно, по московским понятиям, одетая, она выходила гулять, толкая детскую коляску. При ней всегда находились два телохранителя. Один шел в двух шагах справа от нее, другой — сзади. Оба держали правую руку в кармане. Иногда ее сопровождал мордастый мужчина в очках в тонкой золотой оправе. Это была Аннабелла

Бюкар, а мордастый мужчина — отец ее ребенка, опереточный артист Лапшин.

Потом мы узнали, что Аннабелла Бюкар будет работать на радио в отделе вещания на США.

Когда в сопровождении телохранителей (на самом деле, конвойных) Аннабелла появилась на радио, ее самой близкой подругой стала Аннетт.

В этой дружбе не было, для западного глаза, ничего странного. Обе работали дикторами. Обе — американки по рождению, дочери эмигрантов. Только родители Аннабеллы приехали откуда-то из Сербии, а отец Аннетт — из деревни Старый Батокаурт, в Осетии. Он уехал в Америку на заработки в 1913 году, а вернулся домой в 1936 году с дочерью и двумя сыновьями. Мать — ирландка — осталась в США.

Ничего назойливого, ничего странного. Но я-то должен был понимать, что в те годы простой советский гражданин с таким человеком, как Аннабелла, сходитья не стал бы. И даже, сразу не поняв, разве мог я не задуматься позже: почему, тесно сойдясь с новой подругой, Аннетт никогда, несмотря на известное свое хлебосольство, не звала ее к нам в дом и ни разу не предложила мне пойти с ней в гости к Лапшиным.

Почему, заранее понимая, что дружить с Аннабеллой будет непременно агент, я потом вдруг перестал понимать очевидное, видеть явное? Более того, разве не от Аннетт я позже узнал историю Аннабеллы Бюкар? Историю ее бегства из посольства, историю написания книги. Ведь только дополнительные подробности получил я из другого источника — от моего товарища, диктора французской редакции Владимира Мешкова. А главное-то — от нее.

Ничего я не перестал понимать и видеть. Просто мне было удобней и выгодней закрывать глаза, де-

лать вид, что ничего не замечаю. Лишь бы меня оставили вне игры.

*

Унылая история, хрестоматийный пример!

Как любого работника американского посольства в Москве, Аннабеллу предупредили, что советские граждане не имеют права с ней встречаться по влечению сердца, что всякий, кто к ней приблизится, почти наверняка — осведомитель.

Ей, возможно, даже сказали, что за знакомство с иностранцем, если оно не входит в круг служебных обязанностей, советскому гражданину положен лагерный срок. И срок вдвое больший, если он раскроет иностранцу существование такого закона.

Но слушая все эти наставления, Аннабелла, разумеется, думала, что если к ее необаятельному пожилому начальству люди подходят с корыстными помыслами, то к ней, молодой и привлекательной, все тянутся из чистой симпатии.

Вскоре она убедилась в своей правоте. Советские вовсе не боялись встреч с иностранцами. На концерте в зале Чайковского знакомый переводчик представил ей очаровательную молодую блондинку, арфистку, которая тотчас позвала ее к себе в гости. Заранее зная ответ, стыдясь за себя и за своего недалекого посла, Аннабелла спросила:

— А разве это для вас не опасно?

— Неужели вы верите в эти бабушкины сказки? — прыснула ее советская сверстница.

Аннабелла покраснела. Разумеется, она не верила в эти сказки. А придя в гости к новой подруге, она убедилась в том, что ее посольские коллеги клеветуют и на условия жизни советских людей. Никаких коммунальных квартир, никакой скученности...

В бывшем, теперь разделенном на квартиры, особняке в Староконюшенном переулке молодая музыкантша занимала вместе с матерью отдельную двухкомнатную квартирку. Очень уютную, обставленную старинной мебелью.

Мой сослуживец, диктор французской редакции радио, бывший какое-то время одним из многочисленных любовников голубоглазой арфистки, рассказывал мне, что для всей этой истории срочно выселили соседей, занимавших вторую комнату, и сделали во всей квартире ремонт.

А для Аннабеллы с этим знакомством началась новая жизнь. Приятельница не только звала ее к себе, она водила ее к знакомым москвичам, простым советским людям, которые радушно, ничего не боясь, принимали Аннабеллу. Они подчас говорили при ней о некоторых житейских неполадках, признавали, например, что не все мужчины вернулись с войны; но, словно забывая об ее присутствии, увлеченно говорили о том, как много им дала советская власть, как уверенно они смотрят в будущее, как любят они свое правительство и лично товарища Сталина.

Она познакомилась с интересными людьми. У подруги собирались друзья-артисты. Музицировали. Среди постоянных гостей бывал артист московского Театра оперетты Лапшин, мужчина уже зрелый, в очках, придававших его несколько грубоватому лицу со следами глубоких переживаний и дум особое обаяние.

Он был обходителен, мил, предупредителен, и так отличался от молодых ребят, с которыми Аннабелла ходила по субботам на танцы в родном Питтсбурге!

Для Лапшина же все это было рутиной. В московском театральном мире он был давно известен как

безголосый певец и актер выдающейся бездарности. Зато природа одарила его иными качествами. И Второе управление не переставало прибегать к его услугам для „разработки” иностранок, дам из различных посольств, которые делались податливыми благодаря лапшинской неутомимости в постели — а не его патриотической деятельности. За глаза его звали Лукищев.

Вкрадчивое обхождение и профессионализм сделали свое дело. Бич московских любовников тех лет — отсутствие комнаты для свиданий — не существовал для наших героев. Вскоре Лапшин доложил по начальству: все в порядке — Аннабелла беременна.

Только с этого момента начинается, по сути говоря, серьезная игра.

Идут бесконечные разговоры: что делать? Признаться во всем послу и уехать в Америку? На этом настаивает Лапшин:

— Расстанемся навсегда, забудь меня! Ты избалована другой жизнью — уезжай!

— Никогда!

— Я не хочу жертв!

Говорят об аборте. Говорят долго, пока не выясняется, что срок упущен.

Аннабелла очень тяжело переносит беременность. Ее мучают приступы рвоты и обмороки.

Однажды Лапшин пропускает свидание. К Аннабелле прибегает подружка-арфистка: любовник арестован!

Но в этом, населенном добрейшими людьми, мире все время происходят чудеса — арфисточка вместе со страшной вестью принесла записку от арестованного. Лапшин навсегда прощается со своей возлюбленной:

„Если кто-то должен платить за нашу любовь —

пусть это буду я. Спасай нашего ребенка, уезжай. Пусть я погибну. Такова цена, которую мне суждено заплатить! Я был неосторожен, я говорил тебе вещи, которые ты рассказывала у себя в посольстве. У нас это называется измена Родине! Я знаю, что ты этого не хотела, но ошибку не поправишь, упущенного не вернешь! Прощай, я погибаю, а ты живи, радуйся жизни и воспитай нашего ребенка достойным человеком”.

Почему-то ни до, ни после никому не удавалось из внутренней тюрьмы на Лубянке передать записку возлюбленной через приятельницу. Но откуда могла это знать Аннабелла?

Подруга-арфистка рыдает вместе с Аннабеллой. Обе в отчаянии. Но вот московская приятельница посветлела. Ей, кажется, пришла в голову какая-то мысль. Она, конечно, ничего не обещает, но у нее есть один друг, у которого есть приятель, который женат на сестре одного человека...

И тогда происходит конспиративная встреча Аннабеллы с начальником Второго управления (контрразведка) генерал-лейтенантом Райхманом.

Генерал не скрывает, кто он. Наоборот, он говорит как представитель власти. Лапшин нарушил закон и понесет заслуженное наказание.

Первые попытки Аннабеллы доказать, что она всему виной, оказываются тщетны. Генерал не хочет верить, что только ее преступное американское воспитание, ее болтовня всему причина... Но что она может сделать, чтобы спасти человека, который ни в чем не виноват и гибнет из-за нее? как спасти себя, как спасти будущего ребенка?

В умных и усталых глазах генерал-лейтенанта Райхмана появляется теплика сочувствия: он подумает.

Между тем, физическое состояние Аннабеллы

становится все тяжелее. Скорая помощь увозит ее в советскую больницу в бессознательном состоянии. Когда американцы спохватятся, посольству ответят сначала, что никто не знает, где она; а позже, что она попросила политического убежища и не хочет видеть американских представителей.

В больнице вооруженная охрана находится не только в коридоре, но и в самой палате. Наезжает Райхман или кто-нибудь из его помощников, дают подписывать гранки книги. Она подписывает, не читая. Да и текст все равно по-русски, и она с трудом понимает. Лапшин еще не освобожден (на самом деле он никогда и не был арестован), но его вот-вот освободят. Наконец, он прибегает к ней, он рядом с ней, он говорит ей, что все будет хорошо!

А когда Аннабелла приедет с ребенком на новую квартиру на углу Старо-Пименовского и Воротниковского переулков, книга с ее фамилией на обложке уже будет готова. „Правда об американских дипломатах” выйдет из печати.

В этой книге Аннабелла Бюкар не написала ни строчки.

Будем справедливы — гонорар за нее ей заплатили. Как и тем журналистам-международникам (шесть человек), которые ее сочинили.

Мой приятель, французский журналист, коммунист, проведший во время войны несколько лет в России, говорил мне, что когда они получили распоряжение напечатать книгу Аннабеллы Бюкар в газете „Се суар”, то им пришлось попыхтеть. Ведь при переводе липа шибает в нос еще сильнее. Написана же книга по канонам самой плохой советской журналистики: грубые политические обобщения, обвинения США в разжигании военной истерии и подготовке нападения на СССР. Сплетни о сотрудни-

ках американского посольства, собранные на уровне замочной скважины советской прислугой; слюнявые восторги „автора” перед советским образом жизни.

И отвратнее всего — куски мнимой автобиографии.

„Как мать, — говорится в этой книге, — я смотрю вперед, чтобы увидеть, в каком мире будет жить мой сын. Как мать, я сознаю, что будущее принадлежит Советскому Союзу и что мой сын будет жить более яркой, более полной жизнью, чем он мог бы жить где бы то ни было в другом месте мира”.

Когда я уезжал из России, сын Аннабеллы Бюкар, Миша Лапшин, отбывал второй срок где-то на севере — по уголовному делу.

Прошли годы, Аннабелла давным-давно знала — такую вещь невозможно не знать, — что ее муж сблизился с ней когда-то по указанию Второго управления КГБ, что ее душераздирающий роман был от начала до конца, во всех деталях и подробностях подстроен, следовательно, фальшив, что все было ложью. Она, вероятно, давно поняла роль, которую сыграла в ее жизни подруга-арфистка. Но она продолжала с ней видеться. И с мужем не разошлась. Так и прожили жизнь. Семья, как семья!

Классика и мы

*Сокращенный отчет о творческой дискуссии,
состоявшейся 21 декабря 1977 года
в Центральном доме литераторов*

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Творческое объединение критиков и ли-
тературоведов Московской организации СП
РСФСР

Творческая дискуссия
„КЛАССИКА И МЫ”

(Художественное наследие прошлого и
современная наука и культура)

Председатель — Е. Сидоров.

Вступительное слово — П. Палиевский.
Выступают: А. Битов, Е. Евтушенко, И. Зо-
лотусский, В. Кожин, Ф. Кузнецов, С. Ку-
няев, М. Лобанов, С. Машинский, В. Нико-
лаев, И. Роднянская, И. Ростовцева, Ю. Се-
лезнев, А. Эфрос, В. Шкловский.

Большой зал ЦДЛ. Начало в 16 часов.

(Зал переполнен — присутствует больше тысячи
человек).

П. П а л и е в с к и й:

Не классика является материалом, из которого
мы черпаем концепции, а скорее мы являемся мате-
риалом для классики (от Пушкина до Гоголя). Го-
голь: „Современная поэзия создается не для наших
дней, а для того будущего, которое настанет”. Несо-
измеримы масштабы между нашими писателями,

Из самиздатского журнала „Часы” № 11. — Р е д .

которые только начинают, и классикой, обобщившей опыт тысячелетий. Образ человека, который заключен в Пушкине, далеко не осуществлен. В отличие от других стран, классики в России — за нашими плечами, очень близко. Классику в современности нельзя рассматривать вне борьбы литературных течений, она связана с этой борьбой.

Классика и ее роль в современности не понятна вне нашей ближайшей истории. В момент возникновения нового общества произошло нечто непредвиденное: у них (у классиков. — Р е д .) появился новый противник — искусство авангарда, выдвинувшее свои нормы и понятия.

(Палиевский излагает свои мысли об авангарде, опубликованные, в частности, в его статье в сборнике „Искусство нравственное и безнравственное“.)

В образовавшемся пространстве авангард занял руководящую роль. Культура авангарда — полярна классической: самый ее метод (попытка сконструировать эстетическую ценность, создать искусство, учитывающее вкусы потребителя, „вколотить“ вкусы) противостоит классике. Противостоит даже сам способ поведения, принцип успеха, выдвинутый авангардом, — классика этого не знала. Главное в новом методе — захват общественного мнения, умелое применение к власти, искусство управления общественным мнением.

Авангард снял вопрос о свободе построения образа. У авангардиста Татьяна не могла „сыграть“ никакой „штуки“, не могла выйти замуж вопреки намерениям автора, поскольку автор с самого начала знал, что хотел вколотить в сознание масс. Авангард решил проблему положительного начала просто: интерпретировать классику. Он сам не обладал положительным идеалом, но страшная сила притя-

гивала его к подлинному. Искусство авангарда есть искусство интерпретаторов.

Как бы ни относиться к 30-40-м годам с политической точки зрения, следует помнить об историческом повороте к русской классике, происшедшем именно тогда. В те времена был написан, по-видимому, самый великий роман XX века — „Тихий Дон”. В те времена писал М. Булгаков, да, да, я подчеркиваю, — писал и написал, а это гораздо важнее, чем напечататься! (*Жидкие хлопки.*) Наступил расцвет классической оперы. Постановка „Ивана Сусанина” во время войны спасла — без преувеличения — миллионы человеческих душ. Даже в милой и незамысловатой комедии „Музыкальная история” по-своему отразилось массовое уважение к классическому искусству. Появились замечательные певцы — исполнители классического репертуара, были поставлены лучшие балеты.

И несмотря на печальное, чисто-человечески, состояние людей, несмотря на суровые судьбы левых художников, которые, как говорится, подняли меч и от меча погибли, несмотря на все это, именно в 30-40-е годы произошло слияние классической традиции с народной культурой. (Палиевский говорит об истинном новаторстве, приводя в пример голос автора в спектакле „Воскресенье”, постановка МХАТа, актер — Качалов.) И если в 60-70-е годы мы наблюдаем попытку международного авангарда взять реванш за былое поражение — эта попытка останется безрезультатной.

Мы начинаем постепенно возвращаться к пониманию того, какое огромное значение имеет слияние классической и народной культуры. Интерпретаторы и браконьеры чувствуют себя оскорбленными — столкновение с ними неизбежно.

Рецидивы враждебного отношения к русской

классике наблюдаются и сейчас. (Палиевский цитирует отрывки из переписки Мейерхольда и Булгакова, опубликованной в журнале „Вопросы литературы“.) Булгаков был необходим Мейерхольду, а Мейерхольд Булгакову был совершенно не нужен. Другой пример: публикация В. Кавериним в „Литературной газете“ значительных, серьезных отрывков из статей Ю. Тынянова. У меня не было возможности проверить, вошел ли отрывок, который я хочу процитировать, в том Тынянова, изданный наконец-то издательством „Наука“. Этот отрывок обрывается многоточием. А вот, что следует дальше. (Палиевский цитирует отрицательное мнение Тынянова о Мусоргском — не названном по имени — и Римском-Корсакове.) Чем не нравился Тынянову и другим представителям формальной школы Римский-Корсаков? Тем, что он не имел формы гения, но был им. Они не любили Римского-Корсакова потому, что насмешливо относились к „передовому мракобесию“. А нам ничего не остается, как проглатывать подобные высказывания.

Посмотрите на Большой театр, на его странный репертуар! „Садко“ можно услышать только в Кремлевском дворце съездов. (*Крик из зала: — И „Китежа“ нет!*) Верно. „Китеж“ неприятен авангардистам еще и потому, что Римский-Корсаков пытался предсказать в этом произведении будущее. И предсказал верно.

Каждый сезон Большого театра открывался когда-то „Иваном Сусаниным“. (Палиевский цитирует отрицательное высказывание Стравинского о Римском-Корсакове.) В многотиражке Большого театра „Советский артист“ сообщается о новой постановке „Русалки“, о том, что постановщик собирается решать ее нетрадиционно, о том, что самоубийство — это слияние с водами Днепра и т.д. Статья

подписана: „Народный артист, профессор” — не буду называть имени.

Идея нетрадиционного как чего-то положительно-го есть пустая, часто негативная идея. До каких пор мы будем слушать подобных народных артистов и профессоров? До каких пор будем присутствовать на подобных постановках?

Представители интерпретаторства недооценивают степени понимания мировых читательских и слушательских масс. Они — эти интерпретаторы — достигли очень большой безнаказанности, дружественные органы прессы одергивают всех, несогласных с ними. Вот пример. В „Комсомольской правде” публикуется письмо: девушка из провинции сомневается в достоинствах французского фильма (кажется, „Набережная туманов”). Ей резко отвечают: „Вы, должно быть, не понимаете, что этот фильм принадлежит к золотому фонду?” Подобные окрики время от времени раздаются и в газете „Советская культура”. Таким образом, попытки сомневаться усиленно подавляются в нашей печати. А не лучше ли решить эту важную проблему полюбовно, не ущемляя ничьих самолюбий?

Я не считаю себя человеком мрачным, но недавно пришел в состояние полного мрака. М.А. Лифшиц написал статью по поводу того шума, которым была окружена выставка Татлина (кстати, с участием Центрального дома литераторов). Эта статья позже была отвергнута. Может быть, Михаил Лифшиц менее образован, чем другие критики? Может быть, он меньше знает об искусстве? Может быть, он пишет хуже? Ничего подобного! Лифшиц — человек очень высокой культуры. Виной всему — могущественные звонки в редакцию. Это вообще очень дурная манера — вмешиваться, требовать, чтобы кого-то напечатали, а кого-то не печатали.

Непоявление статьи Лифшица — очень тревожный сигнал. Наши писатели начали серьезно осознавать эту проблему. (Палиевский ссылается на сказку В. Шукшина „До третьих петухов”.) Черти просят монахов переписать „картинки”. Монахи отвечают, что это иконы, как их переписать? — „А так, чтобы нас вместо тех изобразить!” Монахи отгоняют чертей. — „Какие же вы грубые, пошехонье! Мы за вас возьмемся”. (*Аплодисменты.*)

С. К у н я е в :

Я прочитал книгу „Эдуард Багрицкий в воспоминаниях современников”. Многое мне представляется там интересным, многое — спорным, многое — надуманным. Взял однотомник стихов Багрицкого, сравнил. Мемуаристы поставили перед собой неблагодарную задачу — доказать, что Багрицкий продолжает традицию русской классики (вместе с Маяковским и Есениным). (Куняев цитирует фразы из воспоминаний.) Павел Антокольский: изображение природы у Багрицкого — на уровне лучших страниц Тургенева, Тютчева, Фета. Юрий Олеша: „Последняя ночь” — гениальная поэма. Марк Орлов: было, впрочем, одно произведение, с которым можно сравнить „Последнюю ночь”, — „Слово о полку Игореве”. (*Смех в зале.*) Лидия Гинзбург: Багрицкий, в соответствии с традицией русской поэзии, читал, любил Пушкина и выразил эту любовь в стихах.

В поэме „Человек предместья” маленький человек изображается в полном противоречии, в разрыве с традицией русской классики, с традицией Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова — со всеми, вплоть до героев повестей В. Белова (Иван Африканович). Багрицкий всеми фибрами души не принимает вчерашнего крестьянина:

Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай. Киркой проколи!

Ненависть к быту нельзя отнести за счет лирического героя — это позиция самого автора. Природа для Багрицкого — в лучшем случае — материал для литературной ситуации. Кстати, мемуаристы не забывают упомянуть о болезни Багрицкого. Так вот, у Фета та же болезнь — астма. Но это не заставило его ненавидеть жизнь, наоборот, стихи Фета — прославление ее.

В стихотворении-завещании сыну Багрицкий призывает срубить сосны (почему-то они напомнили ему виселицы декабристов) :

Прими же завещанье:
Когда я уйду
От песен, от ветра, от родины —
Ты начисто выруби сосны в саду,
Ты выкорчуй куст смородины.

Баратынский, один из самых пессимистических русских поэтов, призывал сажать деревья. Ему и в голову не приходило, что сто лет спустя появится поэт, который будет призывать рубить их, и что этого поэта назовут наследником русской классики!

... Чекисты, механики, рыбоводы,
Взойдите на струганое крыльцо.
Настала пора — и мы снова вместе!
Опять горизонт в боевом дыму!
Смотри же сюда, человек предместий:
— Мы здесь, мы пируем в твоём доме!

А продукты откуда? Оттуда же, откуда и у Иосифа Когана:

В хате ужинает Коган
Житняком и медом.
В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает...

Снова обращаюсь к книге воспоминаний. Вот что пишет Зинаида Шишова: молодой Багрицкий естественно пришел к революции, как в свой дом, расселся и попросил хлеба и сала. Это был один из лучших людей того времени. *(В зале, как и во время цитирования стихотворений, неодобрительный гул.)*

Читая стихи Багрицкого, я думаю о том, как изменилась жизнь. Вот Лев Славин вспоминает: „В Одессе не увлекались заезжими мистиками. В Одессе не любили Достоевского; любили Толстого, но без его философии”. *(Гул в зале усиливается.)*

В „ТВС” дана формула, имеющая прямое отношение к нравственности:

Но если он скажет: „Солги”, — солги.
Но если он скажет: „Убей”, — убей.

Здесь сформулирован полный разлад с русской поэзией. Странно, что человек, приводящий приговор в исполнение, испытывает при этом радость. Это — не юношеский максимализм, стихи написаны зрелым поэтом.

Е. С и д о р о в (председатель):

Ваше выступление немного не на тему.

С. К у н я е в:

Я говорю о соотношении одного из поэтов и классического наследия. *(Крики из зала: — Не мешайте! Пусть говорит! Дать!)*

Прочитанные мною строки Багрицкого весьма далеки от пушкинских:

И в мой жестокий век прославил я свободу
И милость к падшим призывал.

Разве не в те же годы, что и Багрицкий, творили Ахматова, Заболоцкий? Разве не в те же годы со-

вершено противоположно Багрицкому писал Есенин?

У Багрицкого век — часовой. Вот иной нравственный кодекс, сформулированный почти в то же время:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязи,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный уьет.

Как будто бы Мандельштам, вслед за Есениным, спасая честь русской классики, целиком и полностью опровергает „Февраль”, в котором — фрейдистская ситуация, ключевая для поэзии Багрицкого.

Перейду к поэту следующего поколения — Смелякову. В стихотворении „Сосед”, по-моему, без прямой полемики дан свой взгляд на человека предместья. Смеляков защищает этого человека: ведь он — рядовой войны — защищал родину, он ее отстроил и продолжает строить. А когда останется время — и цветы посадит, и наличники резные вырубит.

Была у Багрицкого еще одна причина отречься от человека предместья:

Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

Багрицкий прокликает дом, где был зачат, родился, провел детство (Куняев сопоставляет цитату с эпизодом из рассказа А. Платонова „Фро” — в пользу Платонова.) Багрицкий отрекался с бесстрашием: самые ярые мракобесы-антисемиты не писали так, как писал он. Он писал о своем доме и детстве так, будто и не было на свете трогательных и печальных героев Шолом-Алейхема:

Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.

(Судя по реакции — часть аудитории слышит эти строки впервые, возмущается.)

В этих стихах есть только злоба, но нет трагичности, так как нет очищения. Как будто человеческое сердце ему подменили волчьим. Такого в русской классической поэзии не было и быть не могло. Мир, полный романтического комфорта, — вот что ему было нужно. Произошло превращение гадкого утенка в карающего орла революции.

Я отдаю себе отчет в том, что мои мысли спорны. Думаю, что Бабель искренне написал в сборнике мемуаров: ловлю себя на мысли, что коммунистический рай будущего будет населен такими людьми, как Багрицкий, и жить с ними будет легко и прекрасно.

Но одно дело — оценка человека, а другое — оценка поэта.

А. Э ф р о с *(встречен аплодисментами):*

Я очень волнуюсь. Очень редко бываю в этой аудитории. Не знаю ее состав, не знаю настроений, не знаю, как вы относитесь к театру вообще и к моим спектаклям в частности. Меня начало трясти с

первого выступления. Второе было продолжением первого и, если это не остановить, — третье будет чудовищным. Черти совсем не в той стороне, где их нашел Палиевский. Однако — очень опасно играть такими вещами. Я благодарен нашему времени за то, что оно перестало играть этим.

Что же такое авангард?

В. Маяковский говорил, что свергает Пушкина, а любил его больше тех, кто клянется пушкинским именем. Шостакович — противоположность Римскому-Корсакову, но он же — гений.

Охрана классики — дело очень опасное. Ведь если бы затеяли охрану человеческих лиц, у нас не было бы ни Петрова-Водкина, ни Модильяни. (Эфрос неожиданно взрывается.) Охранители принесли больше вреда, чем браконьеры, да и какие мы, к чертовой матери, браконьеры? С утра до вечера трудимся над этой самой классикой, пытаемся понять каждую фразу, каждый оттенок. Критик помнит классику по какой-то книжке, быть может, давно прочитанной, а для нас это — живая современность. Мы каждую букву знаем. (Эфрос приводит пример, когда его спектакль „Ромео и Джульетта” ругали критики.) Писали: ведь это о любви, а у вас там мрачно; критик забыл, что сцена, на которую он ссылается, — перед самой гибелью.

В прослушанных речах все было умно, теоретично, образованно. А что под этим? Ретроградство! (*Аплодисменты.*) Получается тишь да гладь, никто пальцем не шевельнет, если такое осилит в искусстве.

Давайте относиться друг к другу с бóльшим доверием. Не надо ярлыков типа „некоторые интерпретаторы”. Что-то может получиться, в чем-то может человек и потерпеть неудачу. (*Громкие аплодисменты.*)

Ф. Кузнецов :

(Кузнецов призывает вернуться к предмету дискуссии в тоне, приличествующем научной, теоретической дискуссии.) (Пропуск.)

(Перед перерывом к микрофону подходит А. Эфрос, читает полученную им записку: „Организируйте свой национальный театр и там уродуйте русскую классику, как хотите”. В зале громкие крики.)

Е. Евтушенко :

Я забежал во время перерыва в кабинет одной знакомой женщины, работница аппарата Союза писателей, и она сказала: „Какие страсти, а мне дочку из ясель забирать надо”. Это прекрасно. Это — правда жизни. Но важно не только то, что у нее есть дочка, а какой она вырастет, каким вырастет мой сын — а это зависит и от наших сегодняшних страстей. Ведь именно наши дети и есть законные наследники русской классики.

Я не хотел ввязываться в драку, не хотел ни с кем спорить, но придется. Слушая Палиевского, я пожалел, что в зале не было Маяковского: он бы сразу нашел, что ответить. Палиевский — критик талантливый, я люблю его читать, но мне кажется, что разговор у него был зашифрован. Попытаюсь кое-что расшифровать.

Зашифрованы были прежде всего нападки на Маяковского. Палиевский туманно ругал авангардистов, в частности, за их поведение. Сказал бы лучше честно о желтой кофте. Я был у мамы Маяковского, она мне сказала, что Володе не в чем было выступать, и из куска старого занавеса соорудили пресловутую желтую кофту. И такие фразы Палиевского, как „вколачивание плакатных образов” — конечно же, выпад против Маяковского. Когда Палиевский сказал, что у авангарда — идея примыка-

ния к политической партии, я сразу вспомнил, в какое трудное положение попал Маяковский, когда тогдашние догматики упрекали его в том, что он — недостаточно большевик, а тогдашние снобы — что он слишком большевик. А в действительности он с юности был истинным большевиком.

Еще вот что неприятно (об этом отчасти говорил Феликс Кузнецов): в двух выступлениях была некая ретроспективная склочность. (*Аплодисменты.*) Мало ли от каких бед страдает наша литература на протяжении своего сложного пути! А мы, вместо того, чтобы сообща драться с действительным противником, ссоримся между собой. Мы забываем о том, что проклятая старуха Смерть ходит между нами, и никто не знает, на кого и когда упадет ее кося. А потом не помогут запоздалые слезы сожаления.

Подчас одного писателя на другого натравливают мелкие околотелературные людишки. Зачем же стравливать мертвых? Я не видел спектаклей Мейерхольда, да и Палиевский, кажется, не так уж стар, чтобы мог их видеть. Но я верю оценке многих замечательных современников, и прежде всего — гению русской музыки — Шостаковичу.

Еще мне не понравилась в выступлении Палиевского одна фраза, отнюдь не выдержанная в духе тех традиций русской литературы, ратоборцем которых он здесь выступал. Человеческую жизнь наши классики ставили даже выше красоты. И когда Палиевский, говоря о 30-х годах, как бы вскользь заметил, что в это время был написан „Мастер и Маргарита”, и, мол, неважно, что роман не был напечатан, — я в этом ощутил ретроспективное равнодушие. Как же не чувствовать, не понимать трагедии художника, у которого не напечатано его лучшее, его любимое творение? (*Громкие аплодисменты.*)

Явление авангарда — сложное явление. Лучшая часть произведений, созданная предреволюционным авангардом и авангардом 30-х годов, стала уже неотъемлемой частью классики.

Не понравились мне и рассыпанные мелкие укеры. Можно по-разному относиться к Татлину, но о нем и об участии ЦДЛ в организации его выставки было сказано мелко, с нехорошим привкусом.

Неприятно было и выступление Куняева. Не знаю, кто лучше — Мандельштам или Багрицкий... *(В зале шум, крики: — Мандельштам!)* Я хорошо знал Шукшина. Он был человек резкий, но совершенно лишенный групповых пристрастий. Он любил и Мандельштама и Багрицкого. Зачем же имя поэта превращать в дубину и бить им других поэтов? И совсем уже нехороший жест, когда Куняев стал бить Багрицкого Смеляковым, в то время, когда именно Багрицкий впервые напечатал Смелякова. Прочитированные Куняевым стихотворения вырваны из контекста, который, возможно, Куняев и не разглядел. Зачем изображать Багрицкого человеконенавистником — какая это злая неправда!

То, что идут споры, — это естественно. Но поэты — не скаковые лошади. На нас нет номеров, хотя иногда мы и лягаемся, и кусаемся. Но мы впряжены в общую упряжку — русскую культуру. (Евтушенко цитирует Гоголя: „Скорбным ангелом загорится...“), ... но не ту, что грубо замешана на так называемом квасном патриотизме!

Великая русская классика никогда не замыкалась на почвенничестве. Лучшие из славянофилов были европейцами, они не позволяли себе возвышать свой народ за счет других народов. Русская классика, устами Короленко, заклемила антисемитизм, насаждавшийся царской бюрократией. Не-

ненависть к антисемитизму — навсегда осталась наследием истинного русского интеллигента.

Переплавив в своем горниле все лучшее из других культур, русская словесность завоевала Запад явлениями Толстого, Достоевского, Чехова. Русская классика, голосом Чаадаева, заявила о патриотизме с открытыми глазами. Среди левых на Западе распространено представление, будто патриотизм — прибежище последних негодяев. Я это принял бы с такой поправкой: казенный, приспособленческий патриотизм — прибежище последних негодяев. Против него всегда выступала русская классика. И мы не должны скрывать от своего народа ни одной трагедии.

Эту часть наших произведений всегда подхватывают западные советологи, а когда мы проявляем искренний патриотизм — нас обвиняют в угодничестве. Мы должны бороться с лицемерием. Вопреки всему, мы не сойдем с позиций никем не предписанного патриотизма с открытыми глазами. (*Аплодисменты.*)

Б о р щ а г о в с к и й :

Если продолжить пунктир, намеченный Палиевским, если довести его до логического конца, то предстанет мир устроенный, очень обставленный и мертвый. Каждый сезон Большого театра в этом мире будет открываться оперой „Иван Сусанин”. Но самое страшное: кому-то в этом мире будет достоверно известно, как именно надлежит прочитывать произведения русской классики. А между тем, каждая эпоха понимает классику по-своему — иначе и быть не может. Человек, который к классике (как бы она ни была высока) ползет на коленях, — не имеет права к ней приближаться. К классике имеет право приближаться человек, истинно веру-

ющий в свое право, в свой талант, в свое особое видение. (Борщаговский приводит как пример историю постановок „Гамлета” в мире.) История классики — это история столкновения разных идей, разных представлений, разных прочтений. В пьесе Сурова такой истории нет! (*Большинство присутствующих в зале переглядываются, не зная, по-видимому, кто такой Суров.*) Люди, которые полагают, будто существует канон в истолковании русской классики, — именно они и проявляют к ней — в самом высоком смысле — неуважение.

Когда я говорил о мертвом мире, я имел в виду не просто вероятность. Хочу напомнить, товарищ Палиевский, как умирал МХАТ, театр нашей молодости, который мы любили, уважали, который был для нас настоящим университетом. Кстати сказать, в „Горячем сердце” любезный вам Станиславский такого наворотил, что вашим предшественникам и это показалось бы надругательством. Когда театральный организм (как и всякий иной) перестает развиваться, когда он закрыт для критики, — он гибнет. Ушли великие артисты и великие граждане (а это неразрывно связано) — и МХАТ стал умирать. Дурную службу сослужили ему тогда охранники, которые заявили: „Каждый, поднявший руку на МХАТ, — поднял руку на родную мать!” МХАТ охраняли от критики.

Мне интересно читать Палиевского, нас объединяет общая страсть к рыбной ловле. (*Смех.*) А в его сегодняшнем докладе меня поразила робость. Нежелание определиться на площади, нежелание сказать прямо. Он часто употреблял слово „авангард”. Но что под этим понимать? Как поступить с „Миром искусства”, с Шостаковичем, с Прокофьевым? Если их зачислить в авангард и, следовательно, пре-

дать анафеме, тогда я не с вами, да и никто с вами не будет.

Ваша мысль о традиционности противоречит самой природе искусства — природе бунтарской. Искусство всегда бунтует. А что получилось с периодизацией? Почему у Палиевского литература 30-40-х годов выступает отдельно? Концы с концами не сходятся, и приходится отделять литературный ренессанс от трагических судеб писателей. А куда исчезли 20-е годы? Куда делся, в частности, роман 20-х годов? Разве произведения 20-х годов Всеволода Иванова (особенно, если учесть ненапечатанные до сих пор „Кремль” и „У”) хуже, чем напечатанные, чем „Пархоменко”? Палиевский утверждает, что „Тихий Дон” — лучший роман XX века, но не доказывает, что это так.

Власти произвели в 30-х годах ряд чисто административных мероприятий — например, ликвидировали Пролеткульт. Периодизация Палиевского ненаучная, не соответствует исторической правде. Чтобы утверждать нечто подобное, надо слишком увлечься собственной концепцией, принять концепцию, а не факты. Возможно, так получилось и по боковым, внелитературным соображениям.

Я не собирался выступать, на это меня подвигла полемика.

Оставляю в стороне выпады Куняева против Багрицкого, лично для меня весьма неприятные. Задам более общий вопрос. Как получилось, что в наше время, время расцвета критики, об этом не говорилось? Сам я давно не занимаюсь критикой, но читаю много. Все время раздаются голоса друзей: „Саша, ты читал?”, и среди трех названных книг — две непременно принадлежат критикам. Вместо ермиловского рациона: „Гоголь — борец за мир”, — у нас

появились интересные работы о Гоголе, Чаадаеве, Достоевском.

Я пришел сюда с ощущением великолепно меняющегося времени — времени, которое дает право разным режиссерам (вне зависимости от состава крови) по-своему ставить классику, времени, когда повернуло на „ясно“, когда все хорошо. И в такой момент докладчик, к моему удивлению, бросает в зал некий мрачный литературный SOS.

А. Б и т о в :

Я хотел говорить о классике и о нас, однако моя мысль оказалась вырванной из своего русла, затем снова вправленной.

Тем не менее, полемизировать я не хочу, а скажу лучше о термине „классика“. Сначала этот термин обнимал явления от Пушкина до Чехова... (Пропуск.) Позже к ним присоединилась советская классика. Классика — это только то, что продолжает жить. С тех пор, как история опустила в фиксаж все то, что было до 1917 года, изменилось понятие классики.

У нас с классиками существуют бурные, односторонние отношения, и мы рассматриваем эти отношения, а не саму классику. Кто это „мы“? „Мы“ — это я, это сейчасные мы.

Сама постановка проблемы сегодняшней дискуссии прозвучала для меня как некий модный психологический практикум, вроде „Вчера и сегодня“, „Внутри и снаружи“, „Человек и закон“.

Меня реально интересует — и для сегодня и для завтра — психологическая сторона наших отношений с классикой. Всегда и каждый может сказать: мы ее любим. Я еще не встречал человека, который сказал бы, что не любит классику или не любит при-

роду. Между тем, мы живем в мире, наполненном людьми, которые не любят ни того, ни другого.

Мы любим составлять списки: три лучших поэта, пять лучших прозаиков и т.д. И нам кажется, что кому-то из умерших становится больно, если его в эти списки кто-то почему-то не включает. Между тем, боль эта — иррадирующая. Это нам больно. Мы сами не понимаем, что больно нам.

Примеров в моем дальнейшем выступлении не будет.

1. Восхищаясь мастерством классиков, мы прячемся от сущности проблемы. Главная беда — мы воспринимаем их вне культуры, то есть некультурно. Классики писали о человеке. Человек сравнительно мало меняется, мало изменился, в основном остался тем же.

2. Восхищаясь классиками, пытаюсь взять у них приемы, мы в сущности от них отделяемся. Нельзя обречь себя на ученичество. Нельзя забывать о том, что *отпущено мало*, и отпущено тебе и только тебе. Как осилить стоящие перед тобой задачи — вот главный вопрос самому себе.

3. Отношения с классиками строятся, говоря современным языком, на принципе обратной связи. Мы представляем себе, что они сказали бы, если бы были живы, и это нам льстит.

В классике, кроме прочего, скрыто и некоторое чудо, нечто иррациональное. Потому Хлебников смог по датам рождения и смерти единственного не реализованного русского гения Лермонтова предсказать даты двух мировых войн (1914, 1941).

Все уходит, все становится прошлым. Остается только культура.

Мы убеждаем себя, убеждаем друг друга в том, что литература XIX века отразила действительность (то есть отразила один к одному). Что Россия была

на самом деле населена Печоринными, Чичиковыми, Ноздревыми. То есть, иными словами, мы зачеркиваем в классике главное — искусство...

Мы смотрим на портрет XVIII века — и все-таки полагаем, что тогда была другая природа. А другим было видение мира.

Это же требование — отражать один к одному — мы предъявляем и к себе, а выполнить не можем. Странное и, к сожалению, опасное требование для современных литераторов и литературы.

Это некультурно — отменить право художника на самого себя. Одно из самых некультурных требований — требование нового Пушкина, нового Толстого.

У нас в России всего много, но ни одна нация не дает ни нового Сервантеса, ни нового Шекспира. У нас были и Пушкин, и Толстой. Это никого не может обязать быть гением, но всех обязывает быть культурными.

Расскажу о писателе, которого здесь нет, хотя он жив. Я зашел к нему, он был в подпитии, на стене висела барски-мандельштамовская шуба. Перехватив мой взгляд, он произнес скороговоркой:

— Все хотим „Войну и мир”, мы скобари, скобари, а не получается, не получается...

Культура не ограничивается одной литературой. Как известно, русская живопись не приобрела такого значения, как литература, быть может, потому, что, к счастью, никто не просил нового Рублева.

Бедная русская классика существует прежде всего в школе. Там закладывается первый пласт некультурности. Освобождение от этого пласта требует огромного труда, надо сделать рывок. Сделать этот рывок, произвести этот труд — единственное, чего требует от нас классика.

Писатели в России были за все в ответе. Но суще-

ствовала также и философия, и история, которые мы мало знаем.

Количество культурных изданий крайне невелико, стать в уровень с XIX веком нам, видимо, не под силу. Но отнестись культурно можно — об этом свидетельствует и „Библиотека поэта” и „Литературные памятники”.

Какая это радость — подержать стихи Пушкина, созданные в Михайловском или в Болдино!

Потребление любого рода не создает новой культуры.

Сошлюсь на Палиевского — которого, в основном, здесь клевали — на его юбилейную статью о Пушкине в журнале „Москва”. Мне очень подошла мысль — простите, Петр Васильевич, если переверну — мысль о чуде Пушкина, о том, что Пушкин — подарок, что он сделал не меньше Петра, что он предоставил путь.

Палиевский говорит о том, как мало было у Пушкина оснований для великого рывка. Он создал их сам, подставил себе опоры в большей степени, чем обладал ими.

Не израсходовав одних классиков, мы создаем второй эшелон.

На нашей дискуссии сказалась общая болезнь потребления: занимались прежде всего не производством, а распределением ролей.

С. Л о м и н а д з е :

Выступление предшествующих ораторов сбilo меня... Петр Васильевич идеализирует 30-е годы. Я могу судить об этом лучше всех, я сам испытал многое. Могу судить даже о таком частном, поднятом здесь вопросе, как положение в Большом театре: мне пришлось воспитываться в семье актрисы

Большого театра — именно тогда произошло изгнание Голованова, которого заменил Самосуд.

Нет, в 30-е годы гибли от меча не только те, кто меч поднял:

Так они и шли в своих бушлатах,
Два несчастных русских старика.
(Заболоцкий)

Уж они-то меча не поднимали. Таковы коррективы.

Тут раздавались призывы к миру. Напрасно. Мира не будет. Искусство — вещь жестокая, может стоить всего, даже и жизни — в том хотя бы смысле, сколько на него уходит здоровья. Но я хотел бы пожелать, чтобы бои в области искусства не превратились в бои того рода, которые происходили в 30-е годы.

Я не согласен с Евтушенко. Да, во многих важных вопросах линия Маяковского несовместима с линией Есенина.

Нельзя совместить:

... чтобы в мире
 без Россий,
 без Латвий,
Жить единым
 человечьим общежитьем.

или:

... Клячу истории загоним!

и:

Если крикнет рать святая:
„Кинь-ка Русь, живи в раю”,
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

— в эвклидовом мире эти представления не сходятся.

Но Маяковский тоже поэт.

Тут уже говорилось о чудесах. Наши споры раздаются сегодня, 21-го декабря, в день рождения того человека, с именем которого так связаны трагедии 30-х годов.

То, что делается с русской классикой сейчас, вызывает во мне негодование. Я позволил себе крикнуть с места Эфросу, что мы хотим классику без посредников. (Ломинадзе цитирует слова М. Туровской из статьи в „Литературной газете“.) „Режиссер-звезда приближает классику к зрителю”. (Аплодисменты.) Тезис, будто классика без посредников будет пылиться на полке — неверен.

Мы забываем о лавине экранизаций и инсценировок — они сами по себе зло, даже если относятся к числу так называемых „хороших”. Хороших нет и не может быть, потому что нарушается главное — текст. Происходит перевод того, что должно быть, может быть видно взором духовным, в прямое воображение. И это по самой сути уже есть искажение. „Герой нашего времени” дойдет до зрителя лучше, чем спектакль Эфроса. „Страницы дневника Печорина” — полное искажение замысла Лермонтова. (Ломинадзе приводит эпизод из спектакля, когда гвардейский офицер Печорин, не снимая фуражки, читает „И скучно, и грустно...”)

Тут говорили о трактовках, а трактовок-то нынче и нет.

Ю. Трифонов в юбилейной статье о В. Любимове в журнале „Театр” пишет о „комплексе демиурга” у Любимова, о том, что такого режиссера нельзя заключать в клетку. Неверно. Если он режиссер-творец, то он обязан подчиняться автору (это не клетка!), а если он просто демиург, то пусть сам и пишет. В статье сказано о любимовском спектакле по Островскому, где персонажи из разных пьес

смешаны, как белок с желтком, — а мне нужен Островский, а не подобный гоголь-моголь!..

А. Свободин рецензирует фильм Михалкова „Неоконченная пьеса для механического пианино” по Чехову и хвалит, а я не понимаю, почему 60% Чехова лучше, чем 100%.

Об изданиях: мы до сих пор не можем все еще собрать всю русскую классику. То у нас был Толстой без Достоевского, теперь, слава Богу, издается Достоевский, но заминка на „Дневнике писателя”, то Фет без воспоминаний. Недавно я держал в руках том БВЛ „Предоктябрьская русская поэзия”. Замечательный том. В предисловии сказано об акмеизме: названы, естественно, имена Ахматовой, Гумилева, Мандельштама. Листаю том — Ахматова есть, Мандельштам есть, Городецкий есть, а Гумилева — нет! Так издавать нельзя.

С. М а ш и н с к и й :

В литературном мире нет мертвых — они вмешиваются в нашу жизнь как живые. Гляжу на этот переполненный зал и думаю: сколь велика наша заинтересованность в русской классике!

У классики есть два смертельных врага: святое благочестие и субъективность. От интерпретаторов никуда не деться. *(Машинский долго рассказывает, как он смотрел „Ревизора” в Исландии. Потом называет имена лучших советских литературоведов. Ему подсказывают из зала: „И Гуковский!” Машинский повторяет: „Конечно, и Буковский”. Гул в зале.)*

Е. С и д о р о в (председатель):

В президиум поступило множество записок. Одна из них была оглашена А. Эфросом — отвратительная. Я должен извиниться перед Анатолием Ва-

ильевичем. *(Из зала: — Почему только перед ним?)* Мне хотелось бы быть уверенным, что ее написал не писатель. *(Крик в зале.)*

Сейчас я оглашу менее отвратительную, но тоже неприятную записку: „Почему выступают не те, кто объявлен в афише? Что за махинация?“ Похоже по тону на первую. *(Крики из зала: — Почерк? Подпись?)* Обе записки — анонимные, почерков мы не сравнивали, мы не занимаемся экспертизой.

Есть в зале люди, которые явно не туда попали.

В. Кожин о в :

Я возмущен той истерией, которая возникла тут после докладов Палиевского и Куняева. Главным мотивом этой истерии было обвинение докладчиков в антисемитизме. Но ведь Куняев цитировал и положительно оценивал О. Мандельштама... Я уверен, что записка, пущенная из зала, написана сторонниками этой истерии.

Е. Сидоров :

Мы еле-еле отделались от нездоровых, болезненных моментов нашей дискуссии, а ты опять своим выступлением возвращаешь нас к ним.

В. Кожин о в :

Мне не интересно, какой национальности были Мейерхольд и Татлин... *(Реплика из зала: — Мейерхольд — немец!)*... Мне не интересно, какой национальности те режиссеры, которые извращают русскую классику...

Е. Сидоров :

Ты не можешь судить об этом, Вадим. Признайся, ведь ты не ходишь в театр.

В. Кожин о в :

Я не хожу, но моя жена недавно пришла с постановки Эфроса, вся заплаканная от того, что этот режиссер сделал с Чеховым... а от театра до нашего дома 15 минут ходьбы — у нее вот такие слезы капились... *(Реплика из зала: — А какие спектакли смотрит ваша теща? Как она относится к театру?)* Жена плакала не от восторга, а от ужаса — что сделано с Чеховым...

Недавно я рецензировал работу, посвященную испанской литературе XIX века. Там было написано, что в этот период был разгул реакции, поэтому так мало хороших писателей и нет великих произведений. Но, между прочим, в это время в Испании как раз было тихо и спокойно... А вот XVII век в Испании ознаменован страшными насилиями, но в это время жили Сервантес, Кальдерон, Лопе де Вега... *(Реплика из зала: — Ты искажил прочитанную работу!)*

В. Куприянов :

Маяковский введен в классику Министерством просвещения после того, как Сталин сказал, что он лучший, талантливейший.

Тут кто-то говорил, что критики били Евтушенко и Вознесенского. Это неверно — именно критики и сделали их поэтами.

Е. Сидоров :

Слава, что ты говоришь, ты же сам поэт!

В. Куприянов :

Однажды приходит ко мне парень и спрашивает: в чем особенность изображения Ленина в поэме Вознесенского „Лонжюмо”? А я вспомнил, что был в рекламном бюро, когда там принимали портрет Ле-

нина, — оказывается, есть такое понятие: „эмблемно”. Вот Ленин и должен быть „эмблемным”. Художнику сказали тогда, что у него есть выражение, а это мешает эмблемности. Надо убрать выражение — и будет эмблемно. Это и есть Вознесенский.

Е. Сидоров :

Слава, я не потому стою, чтобы тебе мешать, но о том, о чем ты говоришь, хватит и трех минут.

В. Куприянов :

Хочу дать справку: я составлял для БВЛ предоктябрьский том поэзии. Еще в верстке сохранился Гумилев. А потом нам сказали: один раз Гумилева уже расстреляли, чего вам еще надо?

Жизнь классике давали ключевые тексты (религиозные мифы), потому она все еще космологична. Почему у нас нет архитектуры? Русская архитектура утрачена. Сейчас все функционально. Церковь была космологична.

Классика теперь как этика — свод нравственных правил. (*Реплика из зала: — Классика вместо Библии!*)

Нормативная грамматика всегда строилась на примерах классики, ориентировалась на литературу (как грамматика Греча или Ломоносова). Это сейчас она строится на газетно-радио материале. И с этой высокой точки зрения, ни Багрицкий, ни Маяковский не нормативны.

В классике необходимо движение (не в нашем понимании): каждый поступок вытекает из другого. В современной же литературе характеры вытекают из фактов. Это отграничивает классику от неклассики. Все то, что современная литература взяла от классики, разменивается на мелочи, используется „на публику”, царит утилитарный подход.

И. Золотусский :

Мне не понравилось выступление Евтушенко. Он говорил „мы”, а я не хочу быть вместе с Евтушенко в этом тесном местоимении.

Классики оставили нам, прежде всего, идеальное отношение к действительности, которое идет поверх действительности. Они умели парить, хотя и были тесно связаны с действительностью. Евтушенко не имеет в моих глазах никакого морального кредита, поскольку он мог написать :

Моя фамилия — Россия,
А Евтушенко — псевдоним.

И когда он цитировал Гоголя, это было кощунство.

Мы не можем жить в прошлом. Мы вынуждены жить в настоящем. Вступая в контакт с классикой, мы возвышаемся и ценим свое время. Недавно я был у сегодняшних студентов и почувствовал огромную разницу с моими сверстниками — нынешние гораздо раньше приобщаются к истинным ценностям культуры.

Мы собирались создать новые общие идеи, но наше поколение — полукультурно. То, что мы потянулись к классике, — процесс драматический. Ему не дано завершиться в нас самих.

И. Роднянская :

В возникшей здесь полемике я участия принимать не буду, процитирую по этому поводу слова моего любимого поэта Алексея Константиновича Толстого: „Двух станов не боец...”

Я задумалась: что такое „классика и мы”? Ведь при этом подразумевается, что „классика” и „мы” — есть и преграда, и коридор. И сегодняшняя дискуссия доказала, что классика — не мы, что мы были очень заняты не классикой, а собой.

Под классикой я подразумеваю нечто очень широкое — все то, что мы, современники, почитаем прошлым, за которым уже захлопнулась дверь.

Современный человек называет классикой все то, в чем он не находит себя. Классика — все, накопленное культурой, то, с чем нельзя отождествляться. Это дальше, одетое в гусиную одежду, в чужое слово, — привлекает, как никогда.

У опоязовцев, у Тынянова слово „классическое” не существует — канонизирована литературная борьба, все превращается в поток относительности. Тынянов напал на формулу Аполлона Григорьева: „Пушкин — это наше все”.

Нельзя смотреть на предыдущую эпоху как на подготовку последующей, а на последующую — как на простое продолжение предыдущей. По Тынянову, в культуре нет того, что могло бы обладать вершинностью чуда.

...Но они остались по ту сторону нашего текущего опыта.

Классическое предполагает восприятие вечного, а не только прошлого. Это — неизменные идеалы человеческой души. Нравственная мера благообразия, при которой нет шутовства и гонорности, — Толстой, Достоевский, Чехов. Наносное идет от публики. Современный зритель хочет видеть Гамлета в свитере, и режиссер идет его желанию навстречу: это общая расхлябанность — и режиссера, и зрителя. Все адаптировать, все связать с собой — это предательство классики, как бы желание поспать на тех постелях, прополонировать по тем залам.

Дети воспринимают классику истиннее: они читают не только о себе, но и о том, что к их жизни отношения не имеет. Так бывает лет до шестнадцати, и не от излишней доверчивости — просто в детях

не угасла связь с общечеловеческим живым фондом. А между тем, русская классика отчисляется в запас детского чтения. Современное искусство пришло к классическому источнику — и в этом я вижу возрождение.

О Борисе Поплавском

(1903 — 1935)

Многое из созданного в области литературы за рубежом становится значительным вкладом в общерусскую культуру и находит широкий отклик в сердцах и умах нашей подрастающей, духовно освобождающейся российской интеллигенции.

Интересное явление: в широких кругах русского изгнания принято было относиться к зарубежной русской литературе с некоторым пренебрежением, даже с предубеждением. В этом есть доля старой истины: „Несть пророка в отечестве своем”. Но сейчас это уже прошло, сборники стихов зарубежных поэтов усердно разыскиваются любителями и за них платят большие деньги.

И сколько раз в образованнейших кругах изгнания мне приходилось слышать на вопрос о том, кто мы такие, ответ: „Мы — эмигранты” (не изгнанники, а эмигранты, что политически неверно и лично недостойно), вместо естественного: „Мы — русские”.

В этом сказывается немалая доля влияния советской пропаганды: вы, дескать, оторваны от родной почвы, безродные, а следовательно, и бесплодные, блудные сыны советской (опять-таки не российской) родины, которая, вся, как один человек, грудью стоит за любимую партию и ее мудрых вождей... и так далее и тому подобное.

При этом русские изгнанники забывают, что, на-

пример, польская литература прошлого века, представляющая собой до сих пор непревзойденную вершину польского национального гения и принесящая Польше мировую славу, почти целиком творилась людьми, всю жизнь прожившими и умершими в изгнании. Таких поэтов, как Мицкевич, Словацкий, Норвид, таких мыслителей, как Товианский, Красинский, Чешковский, Гоэне-Вронский, не было у поляков ни до, ни после изгнания.

К началу тридцатых годов в русском изгнании, главным образом в Париже (но не только в нем), произошло необычайное событие: выступила группа молодых дарований, сложившихся уже в условиях изгнания. Несмотря на житейские и культурные условия небывалой трудности, они стали пробивать и пробили себе дорогу в большую литературу. Вошли они в нее под трагическим названием „незамеченного поколения”. Им зачастую негде было печататься. Но удивительнее всего было то, как они вообще ухитрялись писать после целого дня физически изнурительного, неквалифицированного труда ради хлеба насущного, где находили время и силы для творчества. Если на свете и была когда-либо пролетарская литература не в переносном, а в самом прямом смысле слова — то она была делом рук „незамеченного поколения” российской антикоммунистической молодежи в изгнании. Кто-то метко сказал о них: „Пушкинская плеяда без Пушкина”.

Эта необычайная страница истории русской литературы еще почти не написана, но недалек час, когда их неизданные рукописи будут разыскиваться литературоведами как величайшая драгоценность, как свидетельство о бессмертии русского духа при любых внешних условиях.

На этот раз я остановлюсь на одном из них. Это — Борис Юлианович Поплавский.

За исключением весьма узкого круга его личных друзей, к великому стыду всех нас, имя его осталось в обширном круге „незамеченного поколения” и „пушкинской плеяды без Пушкина” как одного из многих „начинающих” и „подающих надежды”.

Да, увы, погиб он в возрасте тридцати двух лет, будучи на пять лет старше Лермонтова. Но то немногое, что создано было им и в большинстве своем осталось еще не изданным, — наверняка займет место в первом ряду русской литературы. Друзья называли его „маленьким Андреем Белым”: маленьким — по молодости лет и из-за относительно небольшого литературного наследия. Но по значению своего творчества Поплавский выдерживает сравнение даже с этим корифеем русского Ренессанса.

И мне думается, что именно Поплавский был тем творцом, взмывавшим во всемирные высоты, которому остальные поэты его плеяды все-таки составили лишь достойную свиту.

Поплавский ни на кого не похож и ни с кем не сравним. Он оказался достаточно сильным для того, чтобы с самого начала отвергнуть соблазны доморощенного академизма „парижской ноты”, причинившей немало вреда врожденным поэтам-модернистам этого поколения.

И жил он не так, как остальные. Все работали, мирясь с тем грубым и нищенски оплачиваемым трудом, который один только и можно было получить „сальметекам” у французов в ту пору подготовки коллаборантства. Мирились и с тиранией мало что смысливших в литературе журнальных ретроградов, подобранных в основном по признаку политически левой благонадежности, которые отказы-

вались печатать в „Современных Записках” даже Ремизова и Цветаеву.

Поплавский ни с чем и ни с кем не желал мириться. Он был тверд и чист, жил в свирепой, невообразимой нужде, часто отчаянно голодал, но не сдавался. Жил так, как следовало жить гению — творя, мысля, учась, работая над собой. С начальством любой масти даже не находил нужным встречаться, отчего и лишался тех немногих материальных и социальных преимуществ, которые, случалось, изредка перепадали на долю литературных пасынков из „незамеченного поколения”. Но и с другими бывал резок, крут, несговорчив, а порою даже несправедлив.

Поплавский был чрезвычайно требователен к окружающим и не терпел около себя посредственностей, к числу которых, увы, принадлежали почти все те, от которых зависела возможность житейского устройства. Почти невозможно было заставить его, в его же интересах, „выдержать” компанию какого-нибудь издательского туза или просто „мecenата” — без резких, язвительных с его стороны выпадов по поводу любой, даже невиннейшей пошлости последних. В таких случаях он внезапно багровел от гнева и обзывал „болваном” особу, привыкшую только к лести и потаканию. К счастью, ядовитая ирония многих его замечаний часто просто не доходила до толстокожих распределителей жизненных благ, как известно, ни умом, ни тонкостью, как правило, не отличающихся.

Помню, как, сидя с ним в монпарнасских кафе, в присутствии возможных „покровителей”, несших о литературе несусветную чушь, я с беспокойством следил за цветом его обнаженной, атлетически мускулистой шеи, по которой то поднималась, то опускалась волна пунцовой крови, в зависимости от „понятливости” того или иного собеседника.

Зато с друзьями он был скромнейшим и добрейшим до трогательности, идеальным, несравненным, бескорыстнейшим другом. К тому же он был человеком не менее высоких моральных качеств, чем одаренности.

Но отличительным свойством его натуры была разрывающая все преграды, безудержно и непрерывно прущая из него гениальность. Блестящие мысли по любому поводу вырывались из него с такой неистовой силой, что мы не только не успевали их записывать (чего он, разумеется, и не разрешил бы по своей самой подлинной и глубочайшей скромности, тщательно скрываемой внешним агрессивным озорством), но и запоминать, а порою даже и улавливать.

По этой причине общество его бывало иногда даже утомительным — трудно было все время так много „получать”. Не только его мысли, но и слова были метки, сжаты, остры, образны; из таких бесконечных разговоров с ним, чаще всего его монологов (потому что мы боялись прерывать поток его изумительно блестящей и всегда новой, своеобразной мысли), могла быть написана великолепная книга.

Я часто его просил: „Ты лучше побольше записывай, а то все даром пропадает”. А он парировал: „Для чего? Для потомства?” И недовольно отругивался. К счастью, все-таки немало писал.

Думаю, что наши с ним отношения были дружескими. На людях он имел обыкновение на меня нетерпеливо цыкать и даже насмешливо пародировать то, что он называл моим „газетным воспитанием” (я в то время профессионально занимался журналистикой — куска хлеба ради). Но когда мы оставались одни, он меня упрекал за то, что я пишу „с недостойной газет искренностью”. Он не любил „ме-

тать бисер” и считал, что люди не заслуживают душевной самоотдачи, часто ее не понимают, не верят ей, а иногда считают ее одной из форм коварства.

Долгие вечера, порою целые ночи, мы проводили с ним в кофейнях и притонах Монпарнаса, изредка отправляясь „за границу”, как мы именовали Латинский квартал. У Поплавского не было „любимых мест”. Он заходил в первую же открытую дверь, как бы шумно, тесно или грязно за ней не было. Потом мы „переселялись” в места, где он находил одному ему известные, особенно крепкие напитки. Но пьяницей или даже просто любителем выпить он не был. Пил для одурманивания себя, как он иногда выражался: „для отупения”. После этого мы уходили блуждать. Один из наших частых излюбленных маршрутов вел от „Глозери де лила” по Монпарнасу до вокзала, потом, по другому тротуару, до улицы Вавен, и оттуда, огибая ночью закрытый Люксембургский сад, мы выходили к Пантеону. Или же, дойдя до Монпарнасского вокзала, мы коротко заходили в кафе (сейчас названия уже не помню), где каждый вечер Адамович играл в бридж с Ходасевичем, Ю. Мандельштамом и Ставровым — это была, так сказать, верхушка русского монпарнасского „Олимпа”. Оттуда, по улице Ренн, мы направлялись в душные притоны, теснящиеся по другую сторону Сен-Жерменского бульвара, вплоть до самой площади Мобер, где в ту пору собирались гуляки в арабских, балканских, испанских и в других неопределенной национальности заведениях и кабаках, но где мы продолжали начатые на Монпарнасе философские разговоры. Чем грязнее и теснее бывал притон, в который мы попадали, тем сильнее и ярче прорывалось в Борисе какое-то горькое наитие, тем острее становился его сарказм, все-таки всегда согретый теплотой его внутренней бес-

помощности и безоружности, даже, я сказал бы, религиозности. Он напряженно и глубоко — по-своему — верил, хотя у него от высокого метафизического взлета до горчайшей иронии расстояние бывало тоньше волоска.

Впрочем, остановок больше искал я, утомленный многочасовым блужданием, — Борис был неутомим. А может быть, и стеснялся признаться в своей усталости, считая, что его возня с гирями и занятия прочим спортом наделяли его непреодолимой физической силой. Я лично не уверен, что это было так. Его увлечение „мускулами” было таким же надрывом, как и кажущееся равнодушие к женщинам. Он считал, что самообладанием он может запретить себе страсть. Но часто срывался, легко воспламеняясь чувствами к первой встречной. Тогда внезапно терял голову и, как одержимый, вдруг бросал своих спутников, устремляясь за объектом своей мгновенной страсти.

Со временем я приобрел опыт и, когда это случилось, не чинил ему никаких препятствий, хотя часто и беспокоили меня возможные последствия подобных встреч. В такие минуты он казался неменяемым, способным на все. Да и кем были эти незнакомки и их спутники? На первый взгляд они не внушали ни симпатии, ни доверия.

При следующей встрече он обычно нес какую-то невероятную чушь шпионско-оккультистского характера о причинах своего внезапного ухода. Зная и по собственному опыту, и от других его друзей об этой странности, я не досаждал ему расспросами, а сразу начинал разговор на нашу обычную философско-литературную тему.

Случалось, что он бывал в ответ на это трогательно мил и предан, а бывало и так, что вымещал на

мне злобу за какую-то свою неудачу и дулся часами, говоря: „И как тебе все это не надоедает!”

Но я знал, что Борис действительно меня любил. И не раз случалось, что он (и в нужных и в ненужных случаях) яростно выступал в мою защиту против иных сильных эмигрантского мира сего, порою причиняя мне своей неловкостью и прямолинейностью немалый вред. Но понимая, что это делалось из беззаветнейшей преданности ко мне, я старался посылно облегчать ему его трудную жизнь.

Как для женщины, так и ради друга Борис был, вероятно, способен и на преступление, и на самопожертвование.

Часто любил он ходить по ночным улицам Парижа молча. Иной раз попытка заговорить вызывала его раздражение, а сам он почти никогда не прерывал молчание первым. Как-то, после резкого анализа моей „личности”, из которого следовало, что я вообще никуда не годюсь и даром копчу небо, я спросил его, почему же он в таком случае со мною встречается; он минуту помолчал, а затем ответил своим чуть застенчивым, чуть виноватым голосом: „Потому что с тобой можно молчать”.

Сидя же в кафе, он обычно много, резко и долго говорил. Поток его ярких мыслей и блестящих формулировок казался неисчерпаемым.

Но иногда, в вопросах для меня важных, я не стеснялся ему возражать. Спорить Борис, при всем своем исключительном уме, не умел. Он тотчас начинал горячиться, и даже самые сдержанные и резонные доводы принимал за личное оскорбление, и нам случалось обоим подымать голос настолько, что выдавшие виды завсегда и монпарнасских и иных левобережных кабачков начинали на нас с любопытством поглядывать. Бывало, что он после таких споров хлопнет дверью и скроется. Казалось —

разрыв на веки вечные. А дня через два смотришь — возвращается как побитая собака: „А знаешь, ты тогда был прав. Пруст действительно буржуазен...”

Но чаще всего беседа между нами бывала очень оживленной и искренне дружеской. Много и часто мы говорили друг о друге, и наша взаимная откровенность заходила очень далеко. Борис, как я уже упоминал, был необыкновенно умен, и многое из того, что он мне тогда говорил про меня самого, подтвердилось в последующей жизни. Как часто я потом горько сожалел в особо трудные минуты, что он уже не с нами. Любую — как философскую, так и житейскую — проблему он всегда видел с совершенно новой, неожиданной точки зрения, которая часто переворачивала вверх дном всю постановку вопроса. Кроме того, он умел глубоко заглядывать во внутреннюю суть человека.

Культура Бориса была необъятной. Мне и до сих пор непонятно, как он мог успеть, за свои короткие тридцать с небольшим лет, да еще в тех нечеловеческих условиях жизни, накопить такое количество знаний. Я бы не приобрел таких познаний, дожив и до девяноста.

О чем ни заговоришь, а Борис все это уже знает во много раз подробнее, да еще и по первоисточникам, да еще вот сверх того, о чем заговорил ты, имеется еще то-то и то-то, и третье, и десятое. При этом он отнюдь не был эрудитом и всем своим существом ненавидел всякий педантизм. Его познания были живыми, в любом вопросе он умел с удивительным чутьем быстро схватывать самое значительное и нужное для себя, отбрасывая второстепенное. Он умел, например, даже в марксистской истории философии обнаружить, что на самом деле интересно, почти никогда не ошибаясь. Из бездарной, сумбурной, написанной обычно по источникам, по-

лученным из третьих рук (кроме Плотина, которого автор изучал и знал хорошо) истории философии Брэйз, профессора Сорбонны, Борис извлекал буквально чудеса, почти безошибочно, интуицией, находя всюду наилучшее. Владел он своим багажом так живо и свободно, что тот казался его личными находками, а не почерпнутыми из книг познаниями.

Многое мне тогда открывалось через него. В частности, ставший мне насущно необходимым Хлебников, которого „парижская нота” в те годы клеймила и высмеивала как могла. И феноменология, и Николай Гартман. Борис был первым, кто заговорил со мной и о каббале.

Единственный из русских монпарнасцев, он следил за французской литературой и знал то, что в ней было наиболее интересным. Уже в начале тридцатых годов он утверждал, что „один Арто стоит всех сюрреалистов”. А кто тогда замечал Арто, даже среди французов?

Но он знал подлинную цену и сюрреалистам в ту пору, когда столпы „ноты” объявляли их „мистификаторами” и чуть ли не жуликами.

Гибель Бориса, до сих пор так и оставшаяся невыясненной (он был отравлен чрезмерной дозой героина, каким-то монпарнасским проходимцем Сергеем Ярком), повергла нас всех в отчаяние. Вернувшись с очередных летних каникул, я не узнал всегда бурного, полного жизни Бориса. Он как-то осунулся, потускнел, притих. Забросил не только бокс и гири, но и свое любимое рисование. Стал непривычно молчаливым. Все реже появлялся в „наших” местах и у общих друзей.

Я сразу почувствовал, что в нем произошла какая-то роковая перемена. Долго не решался спросить, в чем дело.

А когда спросил, ожидая раздраженного упрека

в любопытстве или в бесцеремонности (Борис по природе своей был скрытен и рассказывал о себе только по собственному почину, обычно внезапно, но и тогда, по-видимому, многого не договаривал), он кротко и долго посмотрел на меня и сказал: „Не надо, не трогай, когда-нибудь все станет известным”.

Я ответил, что он полностью может рассчитывать на мою дружбу и, следовательно, на любую помощь, и заверил его в том, что в случае, если бы ему вздумалось что-либо мне доверить, ни одна живая душа об этом не узнает.

Он ответил: „Для этого ты недостаточно силен”. После этого краткого разговора мы промолчали с ним всю долгую осеннюю ночь. Потом он проводил меня до гостиницы, но на мое предложение подняться ко мне и выпить что-нибудь согревающее ответил отказом.

Я спросил, будет ли он дальше со мной встречаться. Борис сказал: „Мне будет всегда очень приятно с тобой встречаться. Но не ищи меня, и я тебя искать не буду”. И ушел.

После этого видел я его только один раз, на „пятнице” у Н.А. Тургеневой. Он сидел отдельно от всех и упорно молчал, даже не отвечая на вопросы. Я подсел к нему и сказал, что незадолго до того подаренная им мне книжка „Флаги”¹ очень мне понравилась и что он для меня в настоящее время лучший русский поэт. Никогда не забуду его теплового благодарного взгляда и доброй улыбки в ответ. Но ни одного слова я от него не услышал.

Через два-три дня (или раньше, может быть, даже на следующий день) я не поверил своим глазам, увидев в „Последних Новостях” его портрет в тра-

1 Стихи. — Париж: изд. „Числа”, 1931. — Р е д .

урной рамке, с подробным и невнятным описанием его гибели. Это известие никак не вмещалось в мою голову, и мне все казалось, что роковой номер газеты — галлюцинация. Но, увы, это было не так.

Потом отпевали его в маленькой, бедной русской церковке.

Литературное наследие Поплавского хранится у одного из его друзей. В объемистом пакете — заполненные его круглым почерком разнокалиберные тетради, кое-где украшенные изображениями разных причудливых чудовищ.

Из всего этого неизданного материала увидели свет только два тоненьких сборника стихов: „Снежный час” (Стихи. — Париж, 1936), скорее слабый и не по-настоящему „поплавский”, и „В венке из воска” (Париж, 1936), в котором, кроме трех-четырех замечательных стихотворений, все остальное — лишь „соединительная ткань”.

Кроме того, был выпущен (за неимением средств) до обиды тонкий сборник дневниковых записей (всего 68 страничек) — в прозе. Да еще по журналам и журнальчикам можно наскрести некоторое количество несобранных стихотворений и отрывков из романа, который должен был называться „Домой с небес”.

К тридцатилетию со дня смерти Поплавского, в 1965 году, вышел тоненький, в пятьдесят примерно страниц, сборничек стихов „Дирижабль неизвестного направления” (Париж, 1965).

Свободный размер (как у немецких экспрессионистов, у сюрреалистов и даже у таких уважающих себя классиков, как Томас Элиот, Поль Клодель, учившийся свободному размеру по текстам Библии и у Пиндара, Эзра Паунд или Висенте Алейсandre) в России, в силу всевозможных культурно-историче-

ских обстоятельств, в подробности которых мы здесь входить не можем, не привился. Все, что у нас в этом роде имеется, — это „Ночная фиалка” Блока, „Нашедший подкову” Мандельштама и Хлебников, единственный из русских поэтов, уделявший этой форме достаточное внимание.

И вот самые что ни на есть модернистские стихи Поплавского часто написаны все теми же, завещанными Гумилевым, размерами.

Шагают храбро лысые скелеты,
На них висят, как раки, ордена.
А в небе белом, белизной жилета,
Стоят часы — пузатая луна.

Блестит театр золотом сусальным,
Ревут актеры, тыча к потолку,
А в воздухе, как кобель колоссальный,
Оркестр лает на кота-толпу.

И все клубится ядовитым дымом,
И все течет, как страшные духи,
И лишь во мгле, толсты и невредимы,
Орут в больших цилиндрах петухи...

(„Допотопный литературный ад”²)

После сборника „Флаги” у Поплавского стали накапливаться записи, которые он время от времени публиковал под названием „Дневник Аполлона Безобразова” (не реминисценция ли „Петербурга” Андрея Белого, которого Поплавский необычайно высоко ценил?) — героя одного из образовавшихся у него в большой степени автобиографических романов, модернистские отрывки которого приближались по стилю к свободному стиху. Приведу один из них:

2 Сб. „Дирижабль неизвестного направления”. — Париж, 1965, с. 51.

Отшельник пел под хлороформом
Пред ним вращались стеклянные книги.
Он был прикован золотой цепью
Ко дну вселенной...
Было далеко от жизни,
Но еще не совсем смерть...
Это было предчувствием страшного звука,
Полусон, сквозь который
Бредит рассвет...
Холод, сонливость, предрассветная мука...
А на дне вселенной
Качались деревья
И дождь проходил в бледно-сером пальто.

Бывали среди них и правильные стихи, только записанные подряд, как проза, подобно „Французским балладам” Поля Фора:

Дали спали. Без сандалий
Крался нищий в вечный город.
В башнях матери рыдали.
Часового жалил холод.

(„Дали спали. Без сандалий...³”)

Бывали там и строки, ни в какие стихи не укладываемые, которые правильнее всего было бы обозначить как „стихотворения в прозе”:

„Погасающее солнце было покрыто мухами и водорослями, и бессильные его колесницы не могли уже страшными звуками отогнать полуночных птиц. Все кончалось вечными муками уже потерявшей надежду зари”.

В пору моих встреч с Поплавским он писал невероятное количество таких отрывков, один прекраснее другого. Не знаю, много ли их сохранилось до сей поры...

Конечно, уже стихи периода „Флагов” (далеко не все, вошедшие в этот сборник) намного превос-

3 Сб. „Снежный час”, с. 67.

ходили стихи всех поэтов „незамеченного поколения” и музыкальностью, и красочностью, и смелостью фантазии, и естественностью выговора:

Под зеленым сумраком каштанов
Высыхал гранит темно-лиловый.
Хохотали дети у фонтана,
Рисовали мелом город новый.

Или:

И огромная в темноте
Колоннада сходит к воде.
В синих-синих луны лучах
Колоннады во тьме звучат.

В стихах такого рода Поплавский отмежевывался от „парижской ноты” построением собственного мира, яркими, фантастическими видениями книжного вымысла и пестрой суеты парижских улиц. Но подлинное претворение мира встречается тут только спорадически:

Опускаются с неба большие леса.
И со свистом растут исполинские травы.
Водопадом ужасным катится роса,
И кузнечик грохочет, как поезд...

Или

Все засыпает, на башнях молчат великаны.
Все изменяется к утренним странным часам,
Серое небо белесым большим тараканом
В черное сердце вползает к нагим мертвецам.

Действительность принимает очертания пестрых иллюстраций к детской книжке:

На широких спинах коней пегих
Балерины белые дремали.
И пустые гири на телеге
Силачи с улыбкой подымали.

Реалистическая подробность становится составной частью внутренней жизни поэта:

Жарко дышат смолы. Все проходит.
Спит рука. На башне ангел спит.
Меж деревьев белый парходик
Колесом раскрашенным шумит.

В новом мире, возникающем перед духовным его зрением, не только фантастика и реальность, но также искусство и будничная действительность переплавляются в одно своеобразное целое:

А у серой палатки, в вагоне на желтых колесах,
Акробат и танцовщица спали обнявшись на сене.
Их отец великан в полосатой фуфайке матроса
Мылся прямо на площади чистой, пустой и весенней.

Четверостишие это взято из стихотворения, озаглавленного „Hommage à Pablo Picasso”, но я думаю, что об этом можно было догадаться и помимо заглавия — настолько атмосфера ранней манеры этого живописца тут выступает во всей своей яркой специфике. По сути дела, это-то и есть реализм, только поэтически преображенный.

Иной раз у Поплавского проявлялась и словесная магия, напоминающая есенинскую. Так, например, в „Рукописи, найденной в бутылке”, навеянной фантастическими морскими повестями Стивенсона или Мельвилля, говорится:

В трюме, ныряя, я встретился с мертвой ногою,
Милый мертвец, мы неделю питались тобою.

Или другое:

Снег летит с небес сплошной стеною,
Фонари гуляют в белых шапках.
В поле, с керосиновой луною,
Паровоз бежит на красных лапках.

Или еще, сквозь призму Блока увиденная итальянская фреска треченто:

Под березою в желтом лесу
Спит прекрасный лесной Иисус.
Кроткий заяц стоит над ним,
Греет лапу о желтый нимб.

Только ни Блоку, ни даже Есенину не свойственна такая иллюстративная четкость очертаний. Внутренний мир Поплавского — многослойное накопление бесчисленных культурных ценностей, переплавленное его личным своеобразием. Если, например, большой современный эстонский поэт Алексис Раннит глубоко, среди прочего, воспринял своей удивительной внутренней цельностью культуру русского Ренессанса и его культурные реминисценции — часть (существенная) его тематики, то у Поплавского они нераздельно слиты со всеми остальными жизненными впечатлениями, с его тоской и чувством одиночества, с его неприкаянностью и личными переживаниями.

В этом сборнике („Флаги”) есть одно стихотворение, совершенно исключительное, одно из самых значительных во всей современной русской литературе; называется оно „Сентиментальная демонология”. В нем повествуется о встречах поэта с Дьяволом, непреложно убедительных своей яркостью. Эти видения появляются на фоне фантастического, или, вернее, фантастически воспринятого пейзажа: „И перст дождя вертел прозрачный глобус”. Сначала „Бог звал меня, но я не отвечал”. Зов Бога был любовью, незавершенной. А Врага поэт безошибочно распознавал под любыми, даже, казалось бы, на первый взгляд, самыми незаметными, но тем не менее несомненными личинами. Дьявол ему говорит:

Когда ж в трамвай садились вы во сне,
Прижав к груди тетрадь без промокашки,
Кондуктор, я не требовал билет,
Злорадствуя под синею фуражкой.

Когда же в парке, с девою один,
Молчали вы и медленно краснели,
Садился рядом щуплый господин
В застегнутой чиновничьей шинели...

Но облики Дьявола не всегда столь повседневно конкретны, „он” сохраняет и свою метафизичность:

Иль в бесконечной улице, где стук
Шагов барахтался на вилке лунной,
Я шел навстречу тихо, как в лесу,
И рядом шел и шел кругом бесшумно.

Не теряет „он” и своей „гоголевской” природы:

И в миг, когда катящийся вагон
Вдруг ускорял перед лицом движенье,
С любимой рядом сквозь стекло окон
Лицо без всякого глядело выраженья.

И так — „Пока на грудь, и холодно и душно, / Не ляжет смерть, как женщина в пальто” (Какой потрясающий своей новизной и пронзительностью облик смерти!) ...

Среди друзей Поплавского шла речь о том, что он был якобы наделен даром подлинного ясновидения. Даже его жуткую смерть приписывали его связям с какими-то оккультными кругами, с которыми он будто бы не поладил. Не знаю. Я сам, не обладая никакими оккультными способностями, а еще менее связями, не берусь судить о правильности или ошибочности такого рода упорно циркулировавших утверждений. Но трудно не согласиться, что стихи, вроде вышеприведенных, делают такие предположения в какой-то мере правдоподобными.

В более поздних стихах его фантастика становится ярче, смелее:

Беззащитный сон глубины
Отразился в руках судьбы.
Бледно-серую нитью зари
Перевязаны руки царей...

Или:

„...На скалистых перевалах бандиты читали Спинозу, раз-
валясь в тени своего ружья”.

Или — напоминающее Ремона Русселя и Альфреда Жарри:

„Эллипсоидальное море цветов вращалось направо. Было
светло от воздушных шаров, где были заморожены птицы
(тот, кто долго смотрел в их сторону, заболел ясновиде-
нием). Левая сторона была вертикальна, она вращательно
восходила к иным способам существования, может быть,
к иным временам...”

Как видим, Поплавский сильно русифицирует
свои французские образцы, придавая им не свой-
ственное французам метафизическое четвертое из-
мерение.

Только могучий размах его фантазии был скован
трагизмом его личного бытия. В стихах этого пе-
риода часто встречается внутренняя надорванность,
мутящая яркость его видений, но и придающая им
необычную силу невыдуманного страдания:

Восходит ночь, зеленый ужас счастья
Разлит во всем, и лунный яд кипит.
И мы уже, у музыки во власти,
У грязного фонтана просим пить.

Ясно, что Поплавский рос и развивался в сторо-
ну просодического и словесного раскрепощения
своих возможностей, которым помешала смерть.
Возможно, что в его лице мы потеряли того силь-

ного человека, который был необходим для того, чтобы, сбросив путы академизма, пробудить поэтические возможности русской молодежи за рубежом.

В сборничек „Дирижабль неизвестного направления” включены некоторые неизданные стихотворения последнего периода его жизни.

Здесь мы находим, хотя в большинстве случаев и в традиционных размерах, замечательнейшие образцы подлинного русского модернизма в поэзии, увы, столь немногочисленные из-за систематического многодесятилетнего угнетения русской культуры. Хлебников, Заболоцкий, Мандельштам, Поплавский... Два стихотворения посвящены Лафоргу и Лотреамону, что указывает на его литературные симпатии в последние годы жизни.

Поплавский отличается от Заболоцкого чистой фантастичностью своих образов, не преследующей никаких, даже карикатурных целей, стремящейся к возможно большему отстранению от обычного, к соединению предметов и понятий, наименее совместимых в каждодневной реальности. Его образы достигают неслыханной силы именно этой своей немыслимостью, абсурдностью:

„Черное дерево вечера росло посредине анемоны / Со сказочной быстротой (...) Железо улыбок звучало ударами дождевых лилий” („Мнемотехника”⁴); „Над статуей ружье наперевес / Держал закат”. („Вечерняя прогулка”⁵). „Китайский вечер (...) трогает тебя..., так путешественника лапой трогал заяц” („Поэзия”⁶).

Поплавский — родной брат Гоголя, вслед за Лесковым, Ремизовым, Андреем Белым, Е.И. Замяти-

4 Сб. „Дирижабль неизвестного направления”, с. 49.

5 Там же, с. 28.

6 Там же, с. 14.

ным. Одновременно с ранним Заболоцким, но ничего не зная о почти что не дошедших до Парижа „Столбцах”, а тем более об опубликованном только теперь „Поприщине” (в свое время он лишь промелькнул в приложениях к „Ленинградской правде”), он пишет, зачарованный странной смесью жестокости, притворства и карикатурной фантастики Заболоцкого, свое:

... Потом встает и как луна идет,
Идет по городу распутными ногами,
Купается в ручье как идиот,
Сидит в трамвае окружен врагами

И тихо, тихо шевелит рукой —
Клешнею розовою в синих пятнах,
Пока под колесом, мостом, ногой
Течет река беспечно и бесплатно.

И снова нагло плачет. Как он смел
Существовать, обиднейший из раков?
И медленно жуя воздушный мел
Слегка шуршать с солидностью дензнака.

А последняя строфа этого стихотворения прямо-таки перекликается с гоголевскими мотивами Заболоцкого, хотя и с неподражаемым своеобразием, только ему одному — Поплавскому — свойственным тембром:

А он жужжит и жадно верезжит,
Танцует, как холеная собака,
Пока кругом, с вопросом на руках,
Сидят враги в ужасных колпаках.

(„Жизнеописание писаря”⁷⁾)

Поплавскому не свойственно конечное жизнеутверждение Заболоцкого, зато у него явно преобладает музыкальное начало.

7 Там же, с. 42.

Типична для Поплавского и случайность любовной встречи, как бы по ошибке, как бы так и не состоявшейся:

Смотрела Ты направо. Я туда ж.
Смотрел направо я и Ты за мною.
Медведь ковра к нам вполз, вошедши в раж,
Я за руку его. Ты за руку рукою.

Но мы потом расстались навсегда,
Условившись встречаться ежедневно.
Грибы поганые, нас выбросили гневно
Обратно в жизнь, не сделавши вреда.

(„Невероятный случай”⁸)

Если от Заболоцкого его отличает лирическая пронзительность, лишенная сатирических намерений, то, сравнивая Поплавского с сюрреалистами, с их поисками абсурдных словосочетаний, мы находим у него стремление к выразительному изображению чисто фантастических видений:

Вот мы ползем по желобу, мяуча.
Спят крыши, как чешуйчатые карпы,
И важно ходит, завернувшись в тучу,
Хвостатый черт, как циркуль вдоль по карте...

.
Вот жабы скачут, толстые грибы,
Трясая встают моркови на дыбы,
И с ними вместе, не давая тени,
Зубастые к нам тянутся растения.

(„Другая планета”⁹)

Общая картина мира этих последних стихов Поплавского, несомненно, мрачна, даже демонична. Тема смерти господствует повсеместно. Но вспомним, например, образ блоковского мертвеца, того самого, который

8 Там же, с. 41.

9 Там же, сс. 44-45.

... изнемог от дня чиновной скуки,
Но лязг костей музыкой заглушен...
Он крепко жмет приятельские руки —
Живым, живым казаться должен он!

(„Пляски смерти”)

В свое время он казался пределом переживания смерти, доступным живому. Но если сравнить это стихотворение Блока с „Возвращением в ад” Поплавского, то последнее окажется не только ярче и отчетливее, но и страшнее, чудовищнее:

А вот и вечер, приезжают гости.
У всех мужчин под фалдами хвосты.
Как мягко блещут черепа и кости!
У женщин рыбьей чешуи пласты¹⁰.

И одновременно, я бы сказал, более конкретное восприятие более страшной действительности меньше волнует и меньше ужасает Поплавского, чем куда более обычные, хотя и трагические переживания волнуют Блока. Поплавский как бы сжилсь с господством в мире демонического начала и смерти. И говорит он о них даже с некоторым оттенком юмора:

Кошачьи, птичьи пожимаю лапы,
На нежный отвечаю писк и рев.
Со мной беседует продолговатый гроб
И виселица с ртом открытым трапа.

(„Возвращение в ад”¹¹)

Виноват в этом не он, а эпоха. Он писал правдиво о том, что его окружало, что он видел и чувствовал.

И тут еще одно воспоминание: сидели мы как-то вместе с Поплавским в компании в одной кофейне, на втором этаже, у окна, выходявшего на бульвар. Вдруг из подворотни напротив выехали два автомо-

¹⁰ Там же, с. 36.

¹¹ Там же, с. 36.

бия. Их высунутые вперед тупорылые фары поразили меня своей бессмысленностью, они были хуже, чем свиные морды. Но вместе с тем — это было определенно чье-то лицо. И у меня вырвалось: „Они — дьявол!“ Мое восклицание вызвало смех у остальных; один из них принялся меня пошловато „утешать“: дескать, ничего страшного, самые обыкновенные автомобили. Но на Бориса мое восклицание (я это сразу увидел) произвело явное впечатление, он резко изменился, даже будто как-то потемнел. Когда мы к утру, последними, возвращались домой, он мне сказал: „Ты не должен был им говорить, что Дьявол тебе явился, он будет тебе за это мстить — ты выдал его. А они — с его стороны, а не с нашей, даже если они этого не сознают“. Болезненно-остро ощущал он разлитое вокруг нас зло, проникающее во все щели бытия. Но сам он всеми силами тянулся к свету, как растение к солнцу.

Среди разных других тем это чувствуется на многих страницах его дневника — одной из величайших книг русской культуры (увы, еще не опубликованной целиком), которую можно сравнить с „Перепиской из двух углов“ Вяч. Иванова с Гершензоном, с „Философией хозяйства“ о. Сергия Булгакова, с „Новым Градом“ Федотова или с „Самопознанием“ Бердяева. Эта книга ждет своего издателя.

В весьма немногих местах опубликованной Татищевым брошюры¹² видна внутренняя близость Поплавского с Блоком и с Розановым. С первым его роднит схожее понимание музыки как космически-метафизической категории:

„Принятие музыки есть принятие смерти, оно, как мне

12 См. также: Николай Т а т и щ е в . Письмо в Россию. Синяя тетрадь (Запись разговоров с Поплавским). — Париж: YMCA-Press, 1972. — Р е д .

кажется, посвящает человека в поэты. Почему? Потому что всякая форма перед лицом музыкального становления может или не соглашаться изменяться и исчезать, как всякий одиночный такт в симфонии: то есть движимое чувством самосохранения, — или ненавидеть музыку, в которой смысл смерти, или же героически, несмотря на ужас тварности, согласиться с музыкой, то есть принять целесообразность своего и всеобщего становления, движения и исчезновения. Тогда только душа освобождается от страха...”

У Поплавского трудно провести границу между его поэзией и философией, — как и у Розанова. Его философия была частью целостного переживания и становилась в его руках поэзией:

„Затем мы стали тем, что полюбили”. — Превращение в любимое. Любовь как сила превращения в любимое, как пластический медиум становления”.

Или:

„Конечно, и в малейших манерах, в способе надевать шляпу, в форме рук, в тембре голоса отражается общая духовная музыка, создавшая человека; интеллигибельный его характер. И куда бы ни стремился человек прочь из Божества, из общего, он только детализирует общую мистическую тональность, его создавшую, в свою очередь детализацию общей тональности, создавшей все. Абсолютно индивидуального нет ничего. Абсолютно не симптоматичного, не отражающего целой духовной жизни, нет ни одного поступка, ни одной причуды. И даже в нарочитом чудачестве еще более отражается духовная музыка, как в нарочито измененном почерке еще более явствует то, к чему довлеет человек, в том, что он считает красивым”.

У Поплавского господствует мыслеобраз, где образ поясняет и уточняет мысль, а мысль вызывает образ:

„Нет, мышление происходит в себе, и я только прислуга при дворце, где происходят амуры субъекта и объекта”.

Сила и глубина Розанова в том, что, будучи по-

Груженным в стихию пола, он ею не ограничился, а сумел реально слить воедино два мира, обычно исключаящие друг друга или — самое большее — служащие точкой приложения для отталкивания одного от другого: пола и мистики. У Розанова пол и мистика друг друга дополняют и озаряют.

Местами Поплавский удивительно к нему близок, хотя тут явно не подражание, а глубокое внутреннее родство двух наших великих людей:

„Небо совокупляется с землей дождем и громом, души совокупаются с жизнью непрерывной жаждой тепла, яркости, движения, проявления. И во все дни от сердца человека течет астральное семя, тот, кто хочет пойти против всего этого, поймет скоро, что это буквально плавание в кипящем потоке, и тот, кто научится сопротивляться течению, измерит силу его, и как скучно вне его, и не только член скучает, но и музыка, и дыхание, и весь ландшафт мира остро, до отвратительности скучает в костях святого... Никто, кроме самих святых, не знает, как скучна порою святость, с каким каменным лицом смотрит на Тебя оскопленный мир. И как долго ждать дождя, свежести, царства”.

Как видите, для Поплавского пол — все-таки... „противник”, а не самая сердцевина мистического переживания, как для Розанова.

По своей глубокой природе Поплавский был аскетом. Он жаждет совершенства и непрерывно к нему тянется. Ищет Бога. Молится Ему. Остро чувствует свое несовершенство, свою вину, жаждет ее искупить, исправиться, спастись:

„Бедная, нищая, душа моя, маленькая, слабая, никого почти не любящая, раздражительная, сонливая, смешливая, недостойная внимания...”

Или:

„... а я по-прежнему киплю под страшным давлением без темы, без аудитории, без жены, без страны, без друзей. И снова жизнь моя собирается куда-то в дорогу, возвращается

в себя, отходит от реализации (...) Сегодня почти невыносимый день, все до последнего пальца руки полно болью особенной, специфической болью борьбы, без надежды, ибо тело забыло ласку, сияние благодати, все, все насквозь опять запыло, пропиталось грехом”.

Много можно было бы процитировать еще таких отрывков — они принадлежат к лучшим высказываниям его дневника. И он достигает вершин Розанова не только в вопросах пола, но и в чистой мистике:

„Не опирайся ни на кого, кроме Самого Бога. Зри всех в Боге, на оконечности их лепестком, то есть более или менее спящими и развернутыми. Ты и Бог представляют собой закрытую систему — эллипсис, где Бог активный ныне, а Ты пассивный полюс. Богу возвращена Его пассивная активность, как растение само раскрывается солнцу... (...) Так вокруг Бога во все стороны протягиваются такие эллипсисы, в конце каждого из коих живет или спит человеческая душа. Это как будто лепестки цветка, более или менее развернутые до конца (...) Я жажду Бога лишь когда я очень несчастен и поэтому так ценю несчастья”.

Доказательством (если бы таковое было нужно) подлинности мистики Поплавского является своеобразное скрещение у него мистики с исповедью:

„Свист в ушах — кончаю. Все умерло. Никто из них не знает, как тяжела святость. Это страшное безбытие — пустыня отказавшейся от всего жизни. Я, у которого столько сил для зла, так слаб, так мал, как бабочка, еле жив в добре. Но как мало золота остается после трансмутации”.

Но ведь и это небольшое золото — грандиозное достижение!

Наряду с такими прозрениями, в исповеди Поплавского немало бесстрашия:

„Падаю от тоски, от того, что не могу смириться на скучную и бессодержательную работу, а только на „интересную” (...) Слабость, насморк, слезы из глаз, но все же медитиро-

вал на мокрых улицах и дома. Отсутствие благодати. Молитва впустую. Совсем забыл о Роберте. Помню, молился: Дай мне, Боже, его адскую тьму, его освободи. Печальное, печальное лето (...) Я тяжел, как свинец, мягок внешне, как он, и, как он, тяжел и равнодушен ко всякому притяжению...”

Как и у всякого человека современной эпохи, даже если ему был дан мистический опыт, и у Поплавского — сильная склонность к спору с Богом, иногда неотделимому от мистики:

„Откуда, куда я поднялся (или опустился), что я могу сказать против Бога? Да, против, ибо мука мира глубока”.

Но в споре его больше недоумения, чем горечи:

„Ничто, буквально ничто меня не радует. Спрашивается, к чему стараться учиться мудрости, если плод ее так горек; сон и бессознательность единственное утешение. Смерть — небытие. То же и в Боге. Я понимаю Его, как невероятную жалость к страдающим, но что толку, если сама жизнь есть мука... Бог кажется мне неудачником, мучеником Своей любви, которая подобно похоти заставляет Его, вынуждает творить...”

Но ведь все равно невозможно ни процитировать все, что следует, ни дать в короткой журнальной статье надлежащее представление о небывалом, исключительном богатстве мысли и творчества Поплавского.

По замыслу Всевышнего, он был, по-видимому, третьим, после Розанова и Белого, великим гением Ренессанса, но ему общероссийское лихолетье не дало ни созреть, ни до конца высказаться.

На нас возложен судьбою долг — спасти его наследие от гибели.

Незадолго до своей смерти он мне как-то сказал: „На мир спустились, в огромных количествах, темные силы — теперь все станет хуже, чем было”. И

действительно, в те дни невзгоды и горести посыпались, как из рога изобилия. Он утверждал, что натиск зла будет продолжаться и что силам добра тоже следовало бы мобилизоваться. Но что это возможно только в России...

Поэтому, несмотря на свою предельную непримиримость к коммунизму, он стремился в Россию, в армию, где он надеялся быть полезным своими недюжинными дарованиями: „Я там хочу отдаться чисто конкретной, практической работе, на 180 градусов от Бодлера!” Он упорно верил в возможность чего-то, что надо сделать именно в России.

Судьба решила иначе.

Экзистенциализм?.. мимо

Среди тех, кто сегодня свободно философствует, существует мнение (на этот вопрос часто отвечают утвердительно), что история русской философии — *история рефлексии на западную мысль*. Если это так, то, развивая это мнение, мы должны оказаться внутри *русского способа* философски мыслить. Это мнение и определяет основные темы размышления на проблему — русская мысль и экзистенциализм.

Если это так (история русской философии — рефлексия на западную), — то неизбежно временное отставание. Это легко подвергается проверке и, действительно, со времени Новикова и Радищева этот сдвиг во времени не только легко зафиксировать, но и с достаточной точностью исчислить, он составляет от 25 до 40 лет, то есть продолжительность творческой активности человека. Отставание создает специфическую ситуацию взаимодействий философских концепций. Скажем так: в то время когда в России продолжали усваивать Канта, Гегель уже написал свои основные работы и, в принципе, его система уже входила в ориентацию русского мыслителя (Г. Померанц заметил, что Россия в один исторический период переживает *несколько* европейских). И Кант и Гегель не разделены для

русского мыслителя историческим временем, и „Критика чистого разума” и „Феноменология духа” в „готовом” виде лежат перед ним на столе. Поэтому собственную творческую задачу отечественный мыслитель мог наметить в совершенно оригинальном направлении: объединить две (или больше) концепции в своей собственной. Иначе говоря, его мысль направлена в сторону *цельности*; отсюда, на мой взгляд, сквозная для русской философии идея „цельного знания” — идея, которая абстрагирована от конкретного культурно-исторического процесса Европы, но имманентна русской философской мысли.

Научное знание имеет строгие правила рефлексии: утверждения отсылают к опыту, который может быть повторен или проверен. Философская рефлексия на продукт инобытной культуры, напротив, разворачивается как *подмена предмета мышления*. При этом терминологическая структура сохраняется. Именно ее сохранение и задает тематический аспект рефлексии. Завершенность рефлексии означает, что подмена содержания проведена до конца. Отсюда следует — первое: терминологическая структура сохраняется лишь в качестве формальной, без какой-либо коррелятивной ответственности перед предметом мысли. (Достоевский постоянно чувствовал „фантастичность” и „странность” идей. Ф. Чирсков сделал интересное наблюдение о мотиве *правды* в духовной ориентации этого писателя, которую следует рассматривать как альтернативу „идее”, „философии”, „Западу”). Второе: предмет *собственно* русской мысли выводится за пределы философской концепции, философской „схваченности” („Умом Россию не понять...” — Ф. Тютчев) — так возникает специфическая полярированность... следует подчеркнуть, *специфическая*, вну-

три русского типа философствования, неадекватности философской концепционности и правдоискательства.

Итак: привязанность к западноевропейскому философскому лексикону, подмена предмета мысли отечественным содержанием, стремление к всеохватывающей цельности за пределами философской системности — таковы исходные постоянные в оригинальном творчестве русской философии. Они и создают особый тип *проективности*, который трансцендирует *деструктивность*. Об этой деструктивности свидетельствуют: терминологическая шаткость русской мысли, отсутствие научно-философской методологии, употребление в качестве финальных таких понятий, которые в истории западной мысли служат исходными представлениями.

Итогом русской мысли становится освобождение от детерминаций философского мышления, погружение в эмпирический мир; философские категории служат языком романтизации злободневно-психологических и ситуационных переживаний, языком эмоциональной выпренности, иногда — жаргоном снобизма, или — обиняков.

Ситуационные и психологические злободневные регалии обретают значение подлинных дефиниций в русском типе философствования. С точки зрения европейской — это странные конгломераты, однако узнаваемые в те периоды, когда нормативная сторона западной культуры переживает глубокие потрясения и преобразования. В русской культуре Запад узнает свою собственную — в деструктивном разложении. Поэтому Западу неинтересны формальные построения русских мыслителей, ориентированных на давно устаревшие патерны западной мысли без какого-либо собственного предмета

мысли, но Запад зорко замечает то, что в русском правдоискательстве служит аналогом его собственных тенденций. (Отметим, что такой глубокий философ-филолог, как М. Бахтин, сумел усмотреть в истории Запада именно деструктивную тенденцию — карнавал и жанрообразующие его векторы.) То, что для Запада — проблема, для русского мыслителя — искомое.

Сужение предметного горизонта мысли — это еще один постоянно действующий фактор русского типа философствования. Проблема бытия обращается в проблему нации или быта, проблема нации сужается до проблемы определенной социальной группы, проблема группы дедуцируется до проблемы того или иного ее члена — все эти превращения предмета мысли не сопровождаются адекватными логическими операциями. Возникает характерологическая странность русской мысли, которая может страстно и последовательно убеждать, что спасение человечества в крестьянине-анархисте, ведущем натуральное хозяйство; в семье — как домашней церкви (Розанов); или в превосходстве русского духа. Таким образом, идея цельности, в сущности, является *идеей нивелирования*, и, как всякое нивелирование, эта идея деструктивна по отношению к существу.

Тенденцию к сужению предметного горизонта мысли неверно объяснять только трудностями конвергенции с мировой философской культурой. Причина, по-видимому, в опыте существования русского правдоискателя, в доминировании особенного, исключительного в горизонте его мысли, что, как правило, релевантно с повышенным модусом аффектированности, с *эмотивной индукцией* и дедукцией, — распространяющимися на неопределенный предметный горизонт. Эмотивная индукция наблюдается при травматическом опыте (не обяза-

тельно негативном). Образы, „навязчивые образы”, обретают значение общих категорий, создают тот особый феномен *правдивости*, когда употребление философского термина фундируется конкретным образом-представлением („а дитя-то плачет!”). При таком типе мышления символизация конкретного опыта посредством философских категорий является онтолого-гносеологическим механизмом воспроизводства русского типа философствования как определенной национальной традиции, с ее двумя планами: образно-травматическим и деструктивно-философским.

Если вопрос поставить так: какие выразительные формы наиболее адекватны для выражения опыта русского правдоискательства, то такой формой является *художественная*, во всяком случае — проза. Именно в прозаических произведениях „философия” соотнесена с узким предметным планом (для философии феноменологическая ткань даже романа „Война и мир” Л. Тостого — ничтожна), коррелируется с психо-ситуационными переживаниями героев и развита категориально или неправильно, или неполно. Русская проза, пожалуй, — единственное, в чем Запад нашел нечто такое, что отвечает его нормативным представлениям об этом виде искусства.

Наша предпосылка: история русской мысли — это рефлексия на западную, — требует своего объяснения, которое мы находим в работе Г. Померанца „Некоторые особенности духовной модернизации Востока” (в связи с проблемой восточного Возрождения и Просвещения). Обращение к этому культурологическому исследованию позволяет объяснить некоторые истоки травмообразного мышления русской философской мысли. Кратко изложим некоторые положения, к которым Г. Померанц при-

шел на основе крупномасштабного исторического анализа.

Современный мир, пишет Г. Померанц, как единое целое создан Западом: именно Запад, установив транспортно-экономические, политические и просто информационные связи, раздвинул горизонты существования человека и его мышления до уровня *планетарного*. К Западу Померанц относит три страны: Францию, Англию и Голландию — только эти страны последовательно пережили две эпохи в классически развитом виде — Возрождение и Просвещение. Не-Запад, по степени, начинается уже за Рейном и за Пиренеями. Но Запад не только связал человечество в единое целое — он остается динамическим центром мира. В современном едином мире страны не-Запада принуждены осуществлять *модернизацию*, употреблять достижения европейской цивилизации как для решения своих внутренних проблем, так и в целях сохранения своей государственно-политической самостоятельности. Модернизация, подчеркнем мы, — это не кратковременная акция, а предмет постоянной озабоченности стран не-Запада, несмотря на то, что в этих странах модернизацию часто рассматривают как способ „развития собственных неограниченных резервов”.

Выделение этих черт — крупное достижение культурологической исследовательской мысли. Многие проблемы, которые в России привычно относились к национальным (и на этой основе предпринимались попытки обосновать провиденциальную роль России в мире), как показывает Померанц, *типичны* для стран не-Запада, в том числе, добавим, — их национальный мессианизм. Однако нельзя сказать, что проблема интеллигенции в этой работе нашла свое решение. Для нашей же темы проблема интеллигенции представляет первостепенный интерес.

Г. Померанц не прибегает к какой-либо исторической схеме возникновения и развития интеллигенции. Но мы решимся на это, во-первых, потому, что эта схема в исследовании намечена, во-вторых, позволяет нам более кратким путем подойти к собственной теме.

Модернизация предпринимается идейно и практически руководством страны, вот поэтому Пушкин мог сказать, что правительство долго оставалось в России единственным европейцем. Но в дальнейшем „анклав модернизации” распадается на власть и интеллигенцию. „Интеллигенция трагически противостоит не только правительству, но и народу, во имя которого она пытается выступать... и трудно сказать, от кого она дальше”. „Интеллигент, вставший „в просвещении с веком наравне”, вынужден действовать в непросвещенной обстановке”. Согласно Померанцу, интеллигенция раскалывается на два течения, одно из которых бездействует, мучительно решает вопросы о смысле жизни и так далее, другое — действует, и вступает в борьбу с правительством. Первое течение — религиозное, второе — атеистическое.

Захватив власть, „группа интеллигенции, пришедшая к власти, может некоторое время сохранить интеллигентность..., но в конце концов она оказывается перед дилеммой: либо выпустить руль из рук и отойти от политической деятельности, либо стать такой, какой власть требует, то есть превратиться в группу функционеров”.

Померанц демонстрирует образами Бабичева и Васисуалия Лоханкина двойное отношение интеллигенции к власти.

Отношение интеллигенции к народу — это основной момент, на который Померанц обращает внимание в своем анализе, поддерживая этим давнюю тра-

дицию русской политической мысли. При этом автор разделяет традиционные колебания, кого все же следует, собственно, отнести к интеллигенции, ее бездеятельное, религиозное крыло, или деятелей, борцов, будущих функционеров?

На наш взгляд, нужно четко различать *цели модернизации*; в этом случае мы получим менее противоречивую характеристику интеллигенции как специфического общественного слоя в странах Запада.

Одна из целей модернизации — *утилизировать* достижения западной цивилизации для решения внутренних и внешнеполитических проблем в целях *воспроизводства*, более успешного, той же социальной системы. Тогда реформация (модернизация), несмотря на кажущуюся ее радикальность, служит задачам *реставрации*. („Революция, как реакция” — Томас Манн). Этот тип модернизации выражается в заимствованиях и в ввозе готовых изделий: товаров, механизмов, оружия, в приглашении западных специалистов, в озабоченности получением кредитов, интенсификации разработки сырьевых ресурсов, что может дать средства для осуществления этих планов, и вместе с тем в глубоком разрушении отечественных „этнических” компонентов собственной культуры. Аппарат модернизации, связанный с государственным управлением, выступает в качестве „специалистов”, оприходующих достижения западной цивилизации в целях воспроизводства отечественного социума. Так возникает метод „насаждения” или „внедрения”, касается ли он насильственного навязывания посевов картофеля или бритья бороды. Этих специалистов неверно было бы смешивать со специалистами западного типа; это специалисты — функционеры, утилизаторы, полномочия

власти которых не позволяют отнести к ним, как частным деятелям. Просвещение и насильственность, рационализм и волюнтаризм, прогрессивность и бюрократизм находятся в таком соединении, которое двусмысленно поворачивается то одной, то другой стороной (Бабичев). Они действительно тесно связаны с государственным аппаратом управления и действительно европейски ориентированы, и это уживается с методом „насаждения” и с *преданностью* рутинному пантеону националистических ценностей.

Иная цель модернизации у тех, кто стремится на родине создать такие социально-правовые условия, которые бы позволили придать своей собственной культуре западную динамичность. Поскольку затрагивается социально-правовая проблематика, модернизаторы этого типа неизбежно оказываются в оппозиции к правительству. Это, можно сказать, такие же функционеры-утилизаторы-специалисты, они так же ориентируются на готовые патерны западной мысли, но социально-политического порядка. По отношению к „почве” они — изобретем неологизм — такие же „насажденцы”. Не различая целей модернизации, мы не можем понять, почему Николай I, стоявший к народу не ближе, чем декабристы, жестоко их подавил, хотя они были не менее европейцы, чем он сам. Именно с модернизаторами этого типа происходят все те метаморфозы, которые описал Г. Померанц в своей работе.

Интеллигенция, как специфическое образование в странах не-Запада, — это отнюдь не оппозиционеры, как принято их рассматривать в целом ряде работ на эту тему. Так, один автор заявляет: „...русский интеллигент конца XIX начала XX века: нигилист, народник, эсер-террорист или социал-демократ”. Но это и не „европейски-образованные” лю-

ди, которые бесконечно и бесплодно обсуждают „проклятые русские вопросы”. Это и не подобие религиозного ордена, — вывод, навеянный некоторыми частными фактами в истории русской интеллигенции. Интеллигенция — это *деятели культуры, отстаивающие право на предмет познания и свободу выражения — на неавторитарное творчество в социально-исторической ситуации, при которой культурное, неавторитарное творчество не обладает институциализированным статусом.* Интеллигенты не проговорили XIX и XX века, они *создали русскую культуру* — ту, которую мы знаем. Оппозиционеры-модернизаторы ставили вопрос так: до тех пор, пока русское государственное устройство не обретет идентичность с западным, творчество — невозможно. Интеллигенция отвергла этот постулат фактом своей деятельности.

Пушкин называл Николая I „революционером”. Два момента позволяли назвать его так: авторитарное отношение ко многим чужеземным достижениям и насильственный способ их внедрения. Для интеллигенции, как и для Пушкина, Запад не представлялся абсолютным ориентиром. Пушкин намеревался эмигрировать, но это не помешало ему написать „Бородинскую годовщину”. Вместе с тем, Пушкин никогда не восхвалял *внутреннее положение России*, в которой судьба культурного деятеля оставалась неизменно проблематичной. Но для русской интеллигенции была характерна одна и та же ошибка: мечтая о Западе как о возможности свободного творчества, они не придавали должного значения его собственным социальным проблемам. Отсюда — глубокие разочарования при непосредственном знакомстве с Западом. Но все же пример Запада показывал, что неавторитарная культура может успешно существовать наряду с тоталитаризма-

ми: с государственными и церковными институтами, — и придавать обществу тот динамизм, которым не обладают страны не-Запада. Символ этой независимой культуры — европейские университеты с их суверенными правами.

В этой постановке вопроса: вначале общедемократические права, а потом культурное творчество, — таится своеобразие не-западного социально-политического мышления, которое объясняется тем, что общедемократические институты Запада, в качестве готовых, уже существуют и могут стать предметом *заимствования и внедрения*. Между тем, европейская история демонстрирует противоположное: медленная и последовательная институционализация культуры *предшествовала* конституционным установлениям. Без этого предшествования демократические *нормы* становятся на практике оправданием хаоса, тотальным беззаконием, и победу одерживают те силы, которые способны крайними проявлениями насилия установить свою гегемонию. Демократические нормы пусты, если они, как соты, не заполнены „медом культуры”. Уважение личности остается формальным до тех пор, пока члены общества лишь преданно следуют отечественным или западным авторитетам, — значение личности доказывается преданностью истине, человечности, способностью открывать новые возможности бытия в рутинном и бесперспективном мире. Интеллигентный человек в странах не-Запада — это тот, кто поступает так, как если бы его культурная деятельность охранялась традицией и законом. Но это не так, он рискует, — и тогда часто только Бог оправдывает и охраняет его человеческую взволнованность и ответственность личных решений.

Беспочвенность (оторванность от социальных авторитетов), отсутствие какой-либо официальной

поддержки и правовых гарантий — таково положение тех, кто пытается мыслить свободно в странах не-Запада. Свою деятельность мыслитель представляет необходимой, духовно приподнятой и, во всяком случае, бескорыстной, — и поэтому враждебное или подозрительное отношение к своей деятельности он переживает, как ужасающую бессмысленность. Эти переживания интуитивируют представление о социуме — как о чем-то бездуховном, не ведающем, ни что такое зло, ни что такое добро. Окружающий социум — это и есть источник травматического опыта и страха, — источник реальный: это не тот страх, который настигает человека в его абсолютном одиночестве, — экзистенциальный страх, — а страх онтологичный, социальный.

Иначе говоря, беспочвенность не есть свободное отчуждение, которое продиктовано спецификой свободно выбранной темы размышления, лежащей по ту сторону социальных проблем. Это отчуждение направлено извне вовнутрь философствующего сознания — как доминантная сторона жизненной ситуации мыслителя, как анонимный и неанонимный прессинг навязывания, создающего аффектирующий полюс больной и навязчивой темы, не той темы, которую мы должны прояснить как феноменологию страха и заботы, а как конкретный образ, внедряющийся в нашу теоретическую свободу. (О том, что постоянно гнетет — постоянно и думаешь.) При перемене знаков предмет мышления остается тем же самым. Добрые славянофилы не простили Гоголю „Мертвые души”, выдвинув гносеологический постулат: Россию нельзя понять, не полюбив ее. Но для Гоголя не наступило избавления от социальной проблематики, когда он переменял знаки с критического минуса на апологический плюс и написал „Выбранные места из переписки с друзь-

ями". Социальная проблематика оказалась насильственно внедренной, скептическая редукция в духовной эгиографии Гоголя оказалась бесплодной.

Много лет спустя Н. Бердяев бросил русской интеллигенции упрек в том, что среди нее не было личностей. Но был ли личностью сам Бердяев? Нет. Рокковым образом он был привязан к социальной проблематике своего времени. Его позднее убеждение, что он всегда мыслил экзистенциально, — ошибочная реконструкция его ранней идейной позиции. Ибо, социальное мышление — это мыслить о других людях так, словно другие не имеют собственного сознания, мыслить о свободе других, словно другие не обладают свободой; оно предлагает им выбор, словно другие этой возможности лишены. *Безличные проблемы обезличивают философствующего.* Он совершает подстановку своего Я в Оно (ман). Тут возникает пресловутое Ты, — отчужденное Я в положительной модификации.

Это ничуть не умаляет возможное благородство, энтузиазм, добрые намерения мыслителя, но чем больше сердечности вкладывает индивид в рассмотрение неличных проблем, тем он глубже идентифицирует и унифицирует себя с другими, тем больше в мотивации его творчества проблем других. Это значит „отдать себя”, но это означает и „потерять себя”, это означает „взять на себя ответственность” за других и, одновременно, утратить ответственность за самого себя.

Интериоризация социума внутрь философствующего сознания, как навязанная тематика мышления, „человеком из подполья” раскрывается сквозь призму собственного социального опыта. Поскольку этот опыт травматичен, его конкретное содержание гиперболизируется. При аффективных переживаниях, как психологической постоянной, западная

философия не может выполнить роль наставника, но она может служить и служит „языком” выражения личного и группового („анклавного”) опыта социального бытия. Так быт интеллигенции (скажем, быт Раскольниковова) становится „бытием”, личные духовные поиски — духовными поисками народа. То есть, тот факт, что мировоззрение интеллигенции шире ее социального положения и опыта — так как она ориентирована на мировую культуру, — и тот факт, что психологически она склонна гиперболизировать свой опыт, создают лишь внутри ее убедительный синтез лексической привязанности своего опыта к горизонту другого культурного бытия. Травматически навязанная социальная проблематика не осмысливается адекватно „социологически”, и собственное назначение интеллигенции остается трудно постижимой проблемой.

Н. Бердяев и веховцы были склонны обвинять русскую интеллигенцию во многих драматических перипетиях отечественной истории. На одних и тех же весах они, в сущности, взвешивали качество тех или иных журналов и сборников, и такие события, как индустриализацию общества, мировую войну, голод и другое. Позднее, Бердяев напишет, как ему было трудно освободиться от исторического романтизма в своей деятельности.

На русской почве *экзистенциализма еще не было*, как не было опыта институциализации неавторитарной культуры. Но что такое экзистенциализм?... При изложении мы будем ссылаться на Н. Бердяева, который к концу жизни, во Франции, принял основные мировоззренческие положения экзистенциализма и указал на те духовные препятствия, которые он встретил на пути к его пониманию. Высказыва-

ния приводятся из его книги „Рабство и свобода человека”, опубликованной в Париже в 1939 году.

Экзистенциализм как единое течение объединен прежде всего типом своего скептицизма, а также некоторыми следствиями, которые из этого скептицизма неизбежно вытекают. Скептической редукции в экзистенциализме подвергаются ценности: а) природы, б) социума, — и это определяет специфическую избирательность экзистенциализма в мировой философской культуре. В сущности, любая негативация природы и социума поставляет довод для экзистенциального скептицизма: и Сократ и Пиррон, стоицизм христианских подвижников и сатиры Босха... Что касается Бердяева, то он отмечал значительную роль И. Канта и А. Шопенгауэра в формировании своих взглядов, говоря, что дуализм Канта, пессимизм Шопенгауэра ближе к истине, чем монизм, эволюционизм и оптимизм Фихте, Шеллинга и Гегеля. Среди других западных и русских мыслителей, оказавших на него влияние, он назвал Ф. Ницше („Ницшевская переоценка ценностей, отвращение к рационализму и морализму, очень вошла в мою духовную борьбу...”; Ф. Достоевского, как глубоко раскрывшего проблематичность существования человека; К. Маркса, как радикального критика капиталистического общества. (Марксистский термин „отчуждение”, по-видимому, оказал влияние на идею „объективации” Н. Бердяева.) Указывал философ и на Л. Толстого: „...толстовское восстание против ложного величия и ложных святых истории, против лжи всех социальных отношений людей проникло в мое существо”.

Экзистенциализм, таким образом, избирает свой собственный путь, чтобы снять отчуждение между собственными актуальными задачами и мировой

культурой. Почувствовать экзистенцию мыслителя прошлого — это значит исследовать его методику преодоления ценностей природы и социума как схем отчуждения, или обнаружить проникновение бессмысленности в эти схемы, когда они утверждаются как истинные. С точки зрения финальных задач, важно преодолеть такие мировоззренческие концепты, которые полагают социальные и природные ценности истинными объектами ориентации человека. Если при этом заметить, что, говоря об этих ценностях, мы, в сущности, говорим о мифологемах античности и исторического христианства, то становится ясно, что экзистенциализм отказывается следовать каким-либо традициям, кроме критических, и оказывается перед фундаментально новыми проблемами. Экзистенциальный скептицизм не останавливается перед ценностями прошлой культуры и культурной элиты, сакральными текстами и обожествленными именами. В этом был последователем и Н. Бердяев.

Как социальное бытие, так и натуральное развертываются в категориях собственной казуальности. Гносеологическая проблема, которую осознал экзистенциализм, основывалась на том факте, что индивид сам выбирает между социальным долженствованием и натуральными детерминациями, следовательно, человек свободен. В теологической концепции христианства свобода человека рассматривалась как фундаментальная предпосылка для Спасения и для Страшного Суда, если выбор индивида не соответствовал заданной парадигме выбора. Экзистенциализм сосредоточился на факте *свободы выбора*. При этом свобода осознавалась не в терминах морали или научной необходимости, а как то, что имманентно существованию человека. В онтологическом смысле человек не волен отказаться от своей

„обреченности быть свободным”, но внешне — перед лицом государства, Церкви, наставников и т.п. — он может от свободы отказаться и заверить их в своей преданности и принадлежности к той или иной системе выбора. Поэтому человек должен быть исследован не на вербальном уровне, а таким, каким он открыт сам себе независимо от осуждающей цензуры и призывов наставников к тому, каким он должен стать. (Такое исследование, в сущности, дневник, не имеющий адресата.)

Но проблема была значительно сложнее: речь шла не об искренности и не о потоке сознания, проблема заключалась в *речи*, ибо язык — продукт мифа, предлагал человеческой открытости схему отчуждения. То есть, если рассматривать существование личности как проблему языка, то язык старых мифов говорит о личности, что она есть Ничто. В этом языке человек становится *чем-то*, если возвращается в план натуральности и социальности со всеми вытекающими отсюда следствиями. Таким образом, экзистенциализм *открыл новую реальность — личность*. Проблема существования человека, как проблема имманентная — „трансцендентальный субъект”, — обращалась в экзистенциализме в реальность личности: ту реальность, которую мы осознаем *предметно* лишь в той мере, в какой сохраняем скептицизм по отношению к социальным и натуралистическим ценностям. Личность — есть независимость от природы, независимость от общества и государства, утверждает Бердяев, но поскольку эмпирический человек входит, как часть, в какое-либо социальное или природное целое, он это делает не как личность и личность его остается вне этого подчинения части целому.

Экзистенциализм можно уподобить с общей и специальной теориями относительности Эйнштейна.

Экзистенциализм сохраняет свою общность в типе скептицизма, а также в тех дефинициях, которые определяют границу между личностью как реальностью и реальностями иного порядка. В этой общей теории личность предстает в *безличной форме* — как предмет в его общей особенности: „каждый человек — личность”. Экзистенциалистский анализ показывает, что социальные и натуральные категории, если их накладывать на реальность личности, приводят к абсурду, они не „работают” в определенной предметной сфере. Так, Сартр писал, что марксист может доказать, что Поль Валери — мелкий буржуа, но он не может доказать, почему не каждый мелкий буржуа — Поль Валери. Многочисленные попытки выделить биолого-физиологические и социально-биографические факторы, которые могли бы позволить преодолеть постулат экзистенциализма о неповторимости каждой личности и, таким образом, набросить новую сеть анонимности на личность, оказались безуспешными.

Общая теория экзистенциализма не затрагивает содержательный аспект *какой-либо* личности, не ориентирует на какие-либо образцы, она открывает личность как реальность и демонстрирует методологию этого открытия. „Специальная теория” экзистенциализма — это, в конечном счете, обнаружение реальности конкретной личности как раз в неповторимости ее экзистенциальных проявлений, в особой структуре ее опыта и убеждений, в особых усилиях, за счет которых она преодолевает ловушки безличностного: от стандартов социальных ролей до трафаретов морализма, от патернов исторического величия до штампов обыденной речи, от эталонов мод до хитростей оболыщения масс. То есть, реальность личности проявляется не в голословности ее жизненной программы, а в качестве ее экзистенций, в

решимости ее „быть собой”, в отказе от двусмысленности и привкуса отчужденности от ситуации, какой бы она ни была. История и биография — это различие утрачивает смысл.

Итак, личность — Ничто, ибо мы не можем о ней что-либо сказать „со стороны”, но личность — реальность, ибо личность сама заявляет о себе в неповторимости своих проявлений*. Личность, по Бердяеву, — „разрыв” в мировых процессах. „Когда личность вступает в мир, единственная и неповторимая личность, то мировой процесс прерывается и принужден изменить свой ход, хотя внешне это не было заметно”. „Личность, говорит он, есть категория аксиологическая, оценочная”. И как всякая ценность, личность конституируется модусом должностования. „Личность должна себя созидать, обогащать, наполнять универсальным содержанием, достигать единства в цельности на протяжении всей своей жизни... Вся тяжесть, наложенная на человека природой и обществом, историей и требованиями цивилизации, есть поставленное перед нами затруднение, требующее сопротивления и творческого претворения в личное...”

Трудности экзистенциального становления заключаются в том, что ценности социума и природы отнюдь не всегда декларированы, они включены в стереотипы действий, слов, ожиданий, человек не может вырваться из их плена, если не усмотрит „ман” в самом себе, как ипостась своей собственной пошлости. Это было и наиболее трудной теоре-

* Личность — Ничто и, следовательно (!), Все, — это диалектика мифообразующей мысли. В мифе аксиологически высшая реальность — будь то природа, социум или личность — не может быть подвержена исследованию. Это догма любого мифа, охраняемая запретами.

тической проблемой, без решения которой экзистенциализм оставался роковым образом привязанным к тем же самым социальным институтам, тем же текстам, к истории, элитам. Это та привязанность Раскольниковова, который не может выразить свою неповторимость иначе, чем совершив банальное уголовное убийство, и, как следствие, затем привязан к полицейскому участку, что так гениально заметил Ф. Достоевский. Это та пошлость героя „Записок из подполья”, которая удерживала его прочнее, чем идеологические оправдания пошлости, — с ними герой подполья боролся достаточно успешно. Трудность заключалась также в том, особенно для русского национального типа мышления, что социальный скептицизм привычно разрешался в гедонизме натуралистического функционирования. Именно поэтому ни толстовство, ни теоретические построения Вячеслава Иванова, ни жизненные позиции А. Белого и А. Блока, а затем акмеистов и футуристов не ставили с достаточным напряжением экзистенциальные вопросы. Для русского человека основные проблемы решались выбором между социумом и натурой. Парадоксы Розанова великолепно демонстрируют это. Если для Запада природа — *предмет науки*, и, как предмет науки, она легче подвергалась скептической редукции, то русское сознание продолжало приписывать природе „одухотворенность” (Тютчев, Толстой, Достоевский, С. Булгаков), что характерно для *донаучного* мышления. В этом направлении русские мыслители, за малым исключением, не пошли дальше натурфилософии Гёте.

Итак, личность — это реальность, которая аксиологически ранжируется абсолютным утверждением воли; целостность в экзистенциалистском пони-

мании достигается таким актом веры, который удерживает значение ценностных оппозиций. Поэтому экзистенциальное философствование осуществляет себя тем, что любое утверждение содержательно „отталкивает” возможные подмены. Вне этих оппозиций — к социуму и природе — индивид утрачивает свою личность, целостность и свой волевой пафос.

Но поскольку экзистенциальное существование предполагается *непрерывным*, постольку тотальная предметность мира обретает устойчивый иерархический конструкт, и возникает то, что Бердяев называет „соединением универсально-бесконечного и индивидуально-особого”. Это означает, фактически, что ценностная структура мира более не изменяется, но индивидуально-конкретный опыт предметно дополняет эту картину мира. Так создается новая мифологическая картина мира, в которой личность остается единственно подлинным демиургом, и, как миф, экзистенциальный миф перетолковывает старые мифы, совершает тотальную переоценку наличествующего.

Н. Бердяев не ставит вопрос о том, каким образом лично-неповторимое может стать какой-либо ценностью для другой неповторимой личности. Однако ясно, что ценностная структура экзистенциального мифа *конфессиональна* и может быть воспринята другими и сформулирована в социумной терминологии — в так называемых правах личности и в правилах повседневной этики. Поскольку эта система ценностей может быть социализирована, и в странах Запада социализирована, постольку мы можем говорить об экзистенциальной революции, о новом праве, о новом языке, о новом искусстве — *об эпохе модернизма*. Если не забывать, что скептическая редукция экзистенциализма не может быть

удержана сама собой (требует волевых и познавательных усилий), — уже этих усилий достаточно для того, чтобы служить фундаментальной основой для взаимодействия между личностями.

Новизна экзистенциального подхода к основным проблемам существования человека с наибольшей яркостью проявляется в сфере религиозной проблематики. Бог утрачивает какую-либо социальную или натуральную определенность. „Отношение между личностью и Богом не есть казуальное отношение, — пишет Бердяев, — оно находится вне царства детерминации, оно внутри царства свободы. Бог не объект для личности, он субъект, с которым существуют экзистенциальные отношения”. Личность не может быть детерминирована изнутри и Богом. „Личность, — как пишет Бердяев, — есть абсолютный экзистенциальный центр” —местилище радости и страдания, а этого лишены коллективные и идеальные ценности.

Бог открывается в опыте трансцендирования; трансцендирование — это переход не к объективному, а „транссубъективному”. Как говорит Бердяев, „этот путь лежит в глубине существования, на этом пути происходят экзистенциальные встречи с Богом, с другим человеком, с внутренним существованием мира, это путь не объективных сообщений, а экзистенциальных общений”. Встреча с Богом есть встреча личности с личностью Бога. Бог как личность завершает экзистенциально-мифологическую картину мира в философии Бердяева. Личность трансцендирует к Богу как к вечной „разомкнутости”, и Бог открыт человеку. Он ожидает от человека не покорности и прославления Себя, а любви. Именно такой тип встречи Бердяев распространяет на людей, находящихся в подлинных отношениях. Поскольку объективации личности не

рассматриваются как окончательная ценность, личность ускользает от опасности самовозвеличения. Она постоянно выходит за границы объектов. Поэтому *эсхатологизм* становится характеристикой экзистенциальных интенций личности — как постоянный разрыв во времени натурального и исторического бытия.

Трансцендентальный субъект — трансцендирование — Бог, — такова экзистенциальная диалектика Н. Бердяева, погружение мира в личность, обретение ею универсального значения в ее разомкнутости бытию. Вместе с этим Бердяев намечает параллельную схему: *характер, любовь, гениальность*. Он понимает характер онтологически — как феноменологию трансцендентального субъекта. Н. Бердяев усвоил и сохранил в системе своих взглядов идеи Вячеслава Иванова о „восхождении” и „нисхождении”, которые, в свою очередь, были оригинальной интерпретацией мыслей Ф. Ницше об апохоническом и дионисийском начале в человеке. Эротическая, восходящая любовь — это, собственно, трансцендирование. Но любовь нисходящая, „карикативная”, появляющаяся в жалости и сострадании к человеку и человечеству, нарушает конструктивную схему взглядов Бердяева, которая в основных постулатах *однолинейна, экстатична*. Нисходящая любовь, в сущности, это рефлексия, которая внутри экзистенциальных интенций обречена обнаружить Ничто. Это Ничто творца, который не узнает в своих собственных объективациях самого себя и который может надеяться (экзистенциальная вера) на более глубокий разрыв в будущем со своим прошлым. В этом смысле разворачивается и рефлексия на Другого — как личность, у которой „все впереди”. Здесь мы улавливаем тот привкус бессмысленности, кото-

рый характерен для любого типа мифологического мировоззрения: человек стремится к тому, чего он никогда не в силах достигнуть. Здесь может взять начало героизм бессмысленного человека (А. Камю), у которого нет другого выбора, кроме как остаться „самим собой”, или — скептицизм контрэкзистенциалистского пафоса.

Рефлексию на европейский экзистенциализм, в том числе на философские сочинения Н. Бердяева, трудно выделить, ибо горизонт ориентации человека, свободно философствующего сегодня в России, включает, помимо этого направления, философский антропологизм Макса Шелера и Т. де Шардена, неомизм и структурализм, протестантскую линию христианской мысли. При этом философствующий, как правило, несколько знаком с восточными мистическими учениями. Возникают типичные для русского типа мышления попытки соединения религий, философий, мифов, уверенность в такой возможности тем сильнее, чем поверхностнее знания, чем сильнее потребность в интеграции себя как индивида. Однако ясно, что проблема личности не центральна.

Особенность сегодняшнего момента в том, что *центральных проблем нет*. Хотя, очевидно, каждый философствующий испытывает большую или меньшую симпатию к тем или иным именам или идеям, к типам ответов на основные проблемы существования, собственно, актуальная проблема обозначается как лежащая по ту сторону европейской системности. В терминологии старой русской мысли эта проблема получила наименования: „соборное сознание” или „полифоническая личность” („симфоническая личность” Карсавина) — что, естественно, выражается в художественном способе мыслить

и выражать себя, или в анализе художественного творчества. Вместе с тем — это именно тип мышления, который глубоко касается существенных сторон современного культурного движения, типа свободы неавторитарной интеллигенции. Она ни на чем не настаивает и ни от чего не отказывается, она предельно серьезна и предельно пластична, не принципиальна и не беспринципна; задачи физического выживания и духовной приподнятости, житейская мелочность и высокое подвижничество, осторожность и мужество, — все это создает тот облик интеллигента, который вскрывает действительную нагрузку идеи цельности, соборности, полифоничности, универсальности. Этот тип достаточно профессионален в своем призвании и недостаточно основателен, ибо свободен и от профессии, которая может быть легко подменена другими видами творчества.

Если в шестидесятых годах интеллигенцию было трудно отделить от оппозиционных тенденций, если ее освобождение проходило под знаком „естественности”, то теперь она сознает свою социальную ценность в гуманитарном творчестве, свободно привязанном к тем или иным ориентирам традиции. Как это ни странно, эта свобода — таково мое убеждение, основанное на ряде наблюдений, — конституирует *научный тип мышления*, но не экзистенциальный; научный в широком смысле, как *реализм*, как овладение предметом размышлений и переживаний, ибо только предмет, нечто объективное, способен создать и создает пункты сосредоточений, прерывает пластику и свободу уклонений от конструктивности, основательности, но вместе с тем, только предмет позволяет решать творческие задачи, не затрагивая идеологические и мифологические стороны социального бытия, когда собственная свобода — это освобожденность от самого себя, когда

пластический релятивизм может оказаться лишь способом чистого подхода к предмету, — медитативность без какой-либо *особой* идеологической нагрузки, которую сейчас можно наблюдать. И, по-видимому, таким предметом станет быт, история страны, те или иные деятели культурного движения, их творчество... Реализм — в ранге религиозной веры, *священной правды*, с пафосом: „А все-таки она вертится!”

Это предположение учитывает постоянные в свободной национальной мысли, такие, как деструкционизм, сужение предметного горизонта мысли, отказ от формальных системностей официальной идеологии.

То есть, деструкция личности, по моему мнению, обратится в ее интимный момент, который индивид сумеет преодолеть лишь „верностью предмету”, заимствуя цельность и очерченность из противоположащего ему мира, точнее — противоположащего фрагмента реальности. Сужение предметного горизонта станет *принципом* интеллигенции, так как в этом сужении, мне думается, можно разрешить проблему уверенности, очевидности, удовлетворить критерии профессиональности. Фактичность, очевидность, научность, академизм — это то, что должно *преодолеть* повышенную аффектированность мышления, чтобы стать страстной верой в реальность. Экзистенциализм на этом предполагаемом пути культурного движения претерпит парадоксальную объективистскую интерпретацию, в которой конкретная историческая ситуация будет восприниматься как единственная из всех возможных, и именно в этой ситуации объективно будут изыскиваться возможности той или иной институционализации культуры — этой вечной темы неавторитарного человека в странах не-Запада.

Наука, философия и идеология

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕССА

Как известно, марксизм претендует быть наукой, определяющей всю научную и общественную деятельность людей; он считает, что философские основы должны быть основами и естественных наук. При такой определяющей догматическо-философской установке, разумеется, реабилитация генетики и связанных с нею наук в послелысенковский период (после осуждения Лысенко) должна была в той или иной степени отразиться и на всей структуре марксистского мировоззрения в Советском Союзе. Ведь если больше не существует двух наук — буржуазной и социалистической (а отказ от лысенковства, от мичуринства и признание теорий Эйнштейна и Планка, признание генетики Менделя — это именно отказ от теории существования двух наук) — если наука стала единой, то почему должны

Это — вторая глава из обширного труда Д. Поспеловского „Неподцензурная мысль Советского Союза”. Тщательно анализируя и сопоставляя публикации в советской официальной прессе и в Самиздате, автор показывает преемственность Самиздата (то, как взгляды, первоначально робко высказанные в официальной печати, затем находят свое гораздо более полное развитие в Самиздате) и делает попытку нащупать поток основных мировоззренческих течений, направлений, возникающих и развивающихся в СССР. Отдельные главы из этой работы мы намереваемся публиковать и в дальнейшем. — Р е д .

существовать две культуры или две различные общественные науки, два общественных мировоззрения — основные установки развития общества? Не применимы ли в общественных науках прагматические установки, аналогичные прагматическому подходу к опыту, исследованиям, пробам и ошибкам в естественных науках? Тем более, что это логически вытекает и из всего контекста марксизма: ведь марксизм зародился в XIX веке, в период увлечения естественными науками и их торжества, в период, когда считалось, что естественные науки открыли почти все тайны жизни, и марксизм с самого начала претендовал быть в этом плане параллелью естественным наукам; так что, казалось бы, теперь, после того, как опрокинуты были теории о существовании двух естественных наук, должно было последовать такое же ниспровержение теории существования двух совершенно различных, антагонистических общественных наук и культур, которые, с марксистской точки зрения, неотделимы от идеологии. Кроме того, открытия в области физики XX века (теория относительности, квантовая механика) подвергли значительному сомнению марксистскую точку зрения на первичность материи. Как известно, именно эти новые теории в физических науках, отвергающие материализм физики XIX века, были осуждены во времена Сталина как буржуазный метафизический идеализм.

Пока Советский Союз был сосредоточен на развитии прикладных инженерных наук, прикладной техники, создании или воссоздании основных отраслей промышленности (в 30-х годах) и их реконструкции (в ходе войны и после нее), еще можно было разводить теории о двух науках. Но в 50-х и 60-х годах, когда — чтобы не отставать от научно-технической революции — потребовалась гораздо

более сложная научная база для инженеров и ученых, пришлось в конце концов пойти на признание теорий Эйнштейна и Планка, равно как и генетических теорий Менделя и Вавилова. Это и положило конец теории двух наук и, несомненно, послужило одним из стимулов мысли советских ученых и интеллигенции о конвергенции социалистической и капиталистической систем в целом. Падение Лысенко стало возможным благодаря работе академиков и комиссии Академии наук СССР, засвидетельствовавшей, что результаты его экспериментов были дутыми. Это подробно описывает Жорес Медведев¹. И оно безусловно усилило позиции тех, кто стремился освободить от идеологических шор естественные науки и их преподавание в советских школах и, конечно, в высших учебных заведениях.

Популяризация современных наук, популяризация естественных наук и повышение общего уровня образования в стране, введение обязательного 10-летнего образования — все это поставило проблему примирения, сочетания официальной идеологии с современной наукой гораздо более остро, чем когда-либо. Раньше, даже в какой-то степени при Сталине, Лысенко был — для масс, а Эйнштейн и Планк — для кучки ученых, занимавшихся непосредственно опытами и разработками в области атомной энергии, космологии и прочего. По словам одного советского ученого, пора перестроить всю систему образования, от самых основ, — на принципах современной картины мира. Пора обучать учеников с самого начала мыслить в теоретических группах топологических квантовых образов. Ведь нынешняя практика такова: сначала ученикам, да и студентам, преподают классическую физику и математику, а затем, к концу университетского образования или уже в научно-исследовательских инсти-

туда, должны их переучивать; причем перестроить весь их способ мышления, выработавшийся на омертвелых концепциях миропонимания, бывает весьма трудно, а иногда уже и невозможно. Это особенно сказывается при подготовке специалистов в таких высокоразвитых и сложных сферах современной науки, как физика высоких энергий, молекулярная биология и кибернетика².

Но как примирить принцип единой универсальной науки (вне зависимости от идеологических расхождений) с официальной идеологией и философией? Как можно вместить в марксистское мировоззрение теорию относительности, современную астрофизику и тому подобные теории, если марксизм основан на монистической интерпретации и видит вселенную, живую и мертвую, как единую материю, познаваемую пятью чувствами? Как примирить марксистскую теорию о том, что наука и человеческая мысль определяются экономическими потребностями и трудом, и запросами труда, — с ключевой ролью науки и интеллекта в наше время? Как примирить эти марксистские теории примата труда и экономики с личным, не заинтересованным поведением великих ученых и интеллектуалов? С тем, что их открытия часто вначале (а то и в течение всей их жизни) не признавались современными им трудящимися, политиками и администраторами? Иными словами, их открытия опережали запросы и взгляды, мысли и интересы современников, — а это противоречит основным постулатам марксизма. Некоторые советские ученые и философы пытались перешагнуть через эти противоречия, утверждая, например, что в отношении пяти чувств современные инструменты, современное научно-исследовательское оборудование — не что иное, как продолжение этих чувств — вроде очков, которые „продолжают”

человеческое зрение³. Но как объяснить в рамках этих идеологических ограничений, например, телепатию? Как известно, в последние десятилетия в Советском Союзе учеными был проведен ряд опытов в области телепатии, но никакого рационального марксистского объяснения, уместяющегося в материалистическое мировоззрение, проявлениям телепатии советская наука, советская печать и материалистическая идеология дать не смогли⁴.

Вопрос о том, предшествует материальное производство мыслительным процессам или наоборот, вызвал очень интересную и все еще не пришедшую к окончательным выводам дискуссию в советских философских журналах. Хотя дискуссия и повисла в воздухе, но на страницах „Вопросов философии” в общем было признано, что доктрина Маркса о примате труда и экономического производства над мыслительными процессами имеет несколько ограниченное применение. Например, по словам одного советского философа, было бы неправильно думать, что материальное производство всегда, во все времена, сохранит за собой положение базиса духовного производства, то есть интеллектуальной деятельности. В сфере духовного производства необходимость теряет свой внешний отчужденный характер, и в этом, в этих условиях конечной свободы от внешней социальной необходимости, лежит зачаровывающая красота научной и художественной деятельности. И чем больше результаты духовного производства, тем свободнее они становятся от социальной необходимости. Духовная работа всегда была и остается универсальной, являясь выражением человеческого общества⁵. Автор, таким образом, встал на платформу того, что интеллектуальное творчество не обязательно следует за или ограничивается экономической необходимостью и клас-

совыми интересами, и что научные открытия, сделанные в одной классовой структуре, полностью наследуются и развиваются другими классовыми структурами. Более того, утверждая, что духовная деятельность (то есть культурная, интеллектуальная, научная) и ее ценности универсальны, он придал тем самым большее значение, большую ценность этого рода деятельности, чем материальным и экономическим отраслям работы, которые ограничены определенными классовыми интересами и классовыми структурами, согласно марксизму.

Как бы отвечая на эту статью, Бонифатий Кедров, один из ведущих консервативно-догматических ортодоксальных советских философов, опровергает в мягкой косвенной критике тезис Энгельса о том, что требования прикладной техники вносят гораздо больший вклад в научный прогресс, чем десятки университетов. Кедров признает, что этот тезис сегодня уже частично неприменим, но делает вывод, что неверно было бы на основании отдельных неточных, отдельных частных неправильных суждений марксистских классиков ставить вопрос о необходимости переоценки основных тезисов марксизма. Кедров затем призывает к диалектическому подходу к наследию классиков марксизма-ленинизма, применяя диалектический метод к реальностям сегодняшнего дня, ибо хотя, как говорит Кедров, наука и техника переменили места в смысле примата, это не то же самое, что принципиальное изменение подхода к вопросу о причине и следствии⁶. Иными словами, Кедров косвенно признал приоритет теории и интеллекта (а в конечном итоге — и интуиции) над практической прикладной деятельностью и материальным производством⁷. Еще более значительной, чем это заявление Кедрова, была статья академика А.М. Румянцева в „Ком-

сомольской правде” (8.6.67), где говорится, что отдельные положения марксистско-ленинской науки могут оказаться неприемлемыми и недостаточно точными для нынешних новых условий⁸. Наконец, в передовой статье в „Вопросах философии” признано, что мыслительные процессы опережают труд: направление и характер развития техники, говорится в этой статье, в ряде отношений определяется прогрессом науки⁹, — то есть наука, мысль человеческая, предшествует прикладным наукам, прикладной технике и вообще труду.

Сколь бы обтекаемой ни была формулировка того признания, что труд и экономические отношения не есть обязательный стимул научных исследований и человеческой мысли вообще, нерациональные или надрациональные, метафизические и другие, материалистически необъяснимые, источники мыслительных процессов (например, признание их интуитивного начала и зарождения из интуиции, а следовательно, и интуитивной основы мысли и науки) должны неизбежно быть признаны. В результате — термин „интуиция” должен быть восстановлен в философском и научном лексиконе, как и термины „метанаука”, „метаматематика” и „металогика”. Что касается непосредственно термина „метафизика”, означающего то, что за пределами опытного, физического познания, то этот термин остается табу — и в советской философской терминологии может использоваться только в критическо-пессимистическом контексте, в приложении к буржуазным философствованиям¹⁰. Что же касается интуиции, то один советский ученый признал, что интуиция — одна из самых мощных основ научно-технического предвидения, она единственный источник информации и как бы предвкушение того, что затем появляется в виде обычной научной информации¹¹. Такое

логическое построение, с точки зрения ортодоксального марксизма, просто „поповский идеализм”, ибо по нему представляется следующая картина. Сначала идет интуиция, которая затем ученым формулируется в теорию или постулат, будь то в голове ученого или на бумаге. Затем этот постулат проверяется опытами и опытными моделями. И лишь после всего этого открытие, будучи доказанным путем опыта, может начать применяться к подлинным технологическим процессам и труду. По этой иерархии, труд есть конечный результат, конечное следствие, в лучшем случае — младший партнер, но никак не причина мыслительных процессов. Однако делают попытки сочетать диалектический материализм с современной наукой и интуитивизмом, утверждая, например, что марксизм — это не рационализм и не иррационализм, а диалектический материализм, который предполагает и признает существование обоих элементов в природе. По этой схеме, несовершенство природы и отрицательные побочные эффекты рациональных, разумных действий человека в наш век рассматриваются как нерациональные или иррациональные закономерности жизни. Но затем автор этой схемы, весьма консервативный марксистский философ, вынужден был в довольно обтекаемых терминах признать, что такого рода объяснение вряд ли удовлетворит многих современных ученых, а также признать и то, что современная научно-техническая революция дала новый толчок или стимул иррационализму и интуитивизму. Автор обильно цитирует Анри Бергсона и Николая Лосского, ведущих интуитивистских философов XX века, показывая, что интуитивизм ведет прямо к вере в Бога. Его единственный аргумент против этого заключается в повторении марксистского положения (безнадежно скомпрометиро-

ванного уже в вышеприведенной дискуссии), что труд предшествует мысли¹².

Это возвращение дискуссии на круги своя наглядно иллюстрирует удушливые ограничения в заколдованном круге марксистского философствования. Признание интуиции и того, что мыслительные процессы личности нельзя предопределить социальными и экономическими процессами, заново поставило на обсуждение фактически весь вопрос исторического детерминизма и отчуждения человека. В ходе дискуссии по вопросу взаимоотношения науки и философии физики указывали на индетерминизм квантовой механики и утверждали, что этот индетерминизм не ограничивается только квантовой механикой, но применим и к другим сторонам жизни и мысли, где случайность играет гораздо большую роль, чем фактически признавал марксизм¹³.

Но если признать, что ученые и другие интеллектуалы могут опережать свое общество, что их деятельность, их работа не определяется конкретными требованиями общества, то это же можно применить — в большей или меньшей степени — и к любому другому человеку. А что если отчуждение личности в меньшей степени определяется общественными условиями, чем первоначально утверждал Маркс? Ведущие несоветские марксисты-ревизионисты уже в продолжении значительного времени утверждают, что Марксова теория отчуждения личности от общества в государстве относится не только к капитализму, но и к социалистическим государствам с их огромными бюрократическими аппаратами. Это же частично признали и некоторые советские философы. Один из них сказал, что отчуждение человека не отменяется автоматически появлением социализма¹⁴. Некоторыми советскими философами было признано, что в буржуазной филосо-

фии есть многое, чему можно поучиться, так как главными темами любой философии остаются основные проблемы существования, экзистенции, и взаимоотношения между человеком как субъектом и окружающим его объективным миром не может быть сведено лишь к классовым интересам¹⁵. Появление интереса к юному Марксу в ревизионистских кругах Югославии, Чехословакии и — в меньшей степени — Венгрии и Польши, а также в рядах некоторых марксистских философов Запада, вдохновлялось, несомненно, во многом страхом возрождения сталинизма и попыткой спасти „лицо” коммунизма, найдя теоретическую защиту от сталинизма в раннем гегельянстве молодого идеалистически настроенного Маркса. В Советском Союзе не допустили полного развития дискуссии по вопросам о причинах и условиях возникновения культа личности. Однако тот факт, что за все беды сталинщины обвиняют — совершенно не по-марксистски — одну личность (возможно, парадоксально) привел к обострению заинтересованности в человеческой личности, интереса к человеку в советских философских и социологических работах и публикациях.

В ряду такого рода публикаций можно упомянуть сочувственные анализы антропоцентрических теорий — их начали признавать в качестве вполне закономерных попыток разрешить философские проблемы прогресса и развития¹⁶. Аналогичные проблемы или вопросы были подняты И.Ф. Карякиным в его интереснейшем анализе „Преступления и наказания” Достоевского. В противоречие марксизму автор признал существование абсолютного зла, злых действий, которые не могут быть оправданы никакими благородными целями. Он полагает, что Достоевский прежде всего убеждает нас

в существовании такого не оправдываемого зла; что именно в этом суть творчества Достоевского, а не в отображении материальной нищеты и пороков социальной системы — что принято считать основной темой его произведений советскими официозными ортодоксальными критиками. Другая важнейшая сторона творчества Достоевского, по Карякину, — протест против арифметического подхода к человеческой личности. В каждом человеке, пишет Карякин, следует видеть вечность или отражение вечности, нового, неповторимого мира этого человека. В то время как арифметическая логика утверждает, что 100 больше, чем 1, за этим скрывается и другая мысль: я важнее сотни, тысячи и даже миллиона. Поэтому *мне* все позволено. Именно против такой логики, по мнению Карякина, протестовал Достоевский¹⁷. Параллель между этой логикой и логикой любой тоталитарной диктатуры становится весьма прозрачной, ясно видимой внимательным читателем.

Проблема личности и общества — а следовательно, и общественных наук в целом — одна из центральных идеологических проблем Советского Союза, хотя полноценное ее обсуждение в официальной печати и крайне ограничено рядом идеологических запретов. Один из мыслителей, известный индолог и социальный философ, Григорий Померанц, считает, что источник отчуждения человека лежит в исчезновении из человеческой жизни праздника, карнавала, и замещение его концепцией примата труда и действия, активности. Отчуждение, по Померанцу, это чувство отрезанности от Вселенной, чувство потери цельности и дробление, разделение жизни на отдельные, взаимо-отчужденные клетки деятельности: труд, потребление пищи, развлечение или какой-нибудь часок в церкви. В сущности, та-

кой распорядок жизни подчинен времени, часам и, следовательно, теряется чувство соприкосновения с вечностью. Только в полноте сопереживания религиозно-мистического праздника человек теряет ощущение ограничивающего действия времени на его жизнь и переживает мистическое единство с вечностью, с творением, со Вселенной¹⁸. Время приобретает первичное значение лишь когда теряется жизненное ощущение вечности. Г. Померанц добавляет, что празднование, например, Рождества по всем традициям (колядки и т.п.), но без посещения хотя бы на час храма Божия — теряет всякий смысл. Отсюда он делает вывод, что предлагаемое в Советском Союзе воскрешение популярных традиций, связанных с праздниками, при лишении праздников их сущностного мистическо-религиозного содержания, никак не сможет дать духовного удовлетворения и освободить от скуки и чувства отчужденности, характерных для современного обезбоженного человека¹⁹. Только в полноте подлинного религиозного празднования налицо вневременное слияние трагического и серьезно-мистического с беззаботностью и весельем карнавала. В этом слиянии и есть полнота бытия... Литургия — это полное отражение этой нераздельной культуры, — пишет Померанц. А массы человеческие, лишённые религиозного праздника, превращаются в дикарей²⁰.

Померанц считает, что погружение во вневременное празднование, вневременный праздник, венчающий человека со Вселенной, еще существует в Африке, а также среди буддистов. В христианском мире, как уже говорилось, он видит литургию и икону, равно как карнавал, связанный с религиозным праздником, как основные, неотъемлемые части того же человеческого ощущения вневременности и вневременного единства со Вселенной.

Дальнейшего развития в советской философской прессе интересных, оригинальных мыслей по вопросу отчуждения человека я не наблюдал, да и Померанц вынужден был перейти со своей рискованной темой (трактовка им которой слишком далека от взглядов Маркса) в Самиздат.

Наука и конвергенция

В печати также поднимались связанные с наукой нравственные проблемы, а также и вопросы общественно-этической ответственности ученых. Одна из самых интересных работ на эту тему написана профессором кибернетики Ю. Шрейдером. В ней говорится, что наука зачастую бывает превращаема в религию, и при таком перерождении (или вырождении) на алтарь науки приносится в жертву абсолютно все. В своей работе он опирается на моральный авторитет и мысли иезуита Тейяра де Шардена и русского православного священника, философа, математика, музыковеда, Павла Флоренского. Шрейдер, развивая свои доктрины, ссылается также на Евангелие, на святого Фому Аквинского. Он пишет, что ученый должен быть ограничен в своих опытах этикой, источник которой — любовь к человеку и сознание того, что человек не может быть средством к осуществлению цели, а является самоцелью. Есть ценности выше разума и рациональности. Например, с чисто рациональной точки зрения, пишет Шрейдер, было бы оправдано, если бы врач использовал сердце идиота для возвращения к жизни ученого, но с нравственной точки зрения — это убийство. Если рационализм будет принят в качестве основополагающего критерия человеческой деятельности, то преступлениям против человечества не будет границ.

Иными словами, Шрейдер в качестве базы всего и вся ставит не рационализируемую, не объяснимую в рациональных рамках духовную основу жизни, нравственности и человеческих и общественных отношений. Шрейдер одобрительно ссылается на де Шардена, говоря, что посмертную славу ему дала именно попытка подойти с позиций современных научных открытий к теории единого конвергирующего эволюционного развития вселенной, в котором не остается места тепловой смерти и разрушению, а есть только оптимистическая картина разумного развития мира²¹.

Следует обратить внимание на это упоминание о конвергенции, этот термин здесь приобретает метафизическое значение, — конвергенция в вечности, конвергенция в Боге. Именно в этом контексте использует термин „конвергенция” де Шарден, что также подчеркивает Шрейдер в своей ссылке на него.

Та же тема о том, что для того, чтобы наука могла служить человеку, она должна быть подчинена человеческой этике, — была поднята и другим ученым, академиком М. Волькенштейном, подчеркнувшим, что язык ученых, живущих в разных идеологических системах, остается одним и тем же. В науке концепция конвергенции сама собой разумеется, ибо интересы ученых в обоих мирах тождественны.

Волькенштейн упоминает и империалистов — как угрозу: враги человечества могут использовать науку в своих целях и это может быть катастрофическим для всего человечества. Но подтекст этих слов весьма ясен для внимательного советского читателя, особенно когда в заключение Волькенштейн говорит: медлительность в преобразовании школы и университетского образования, догматизм некото-

рых философов задерживают сближение ученых, сближение науки — как естественной, так и гуманитарной, — превращение ее в единую науку человека, науку людей, в единую культуру человека²².

Одна из частых жалоб советских философов, в конце концов вытесненная из подцензурной печати в Самиздат, это жалоба на парализующие последствия изоляции, недостатка свободного потока информации в советской науке вообще и советской философии, в частности. Например, отчеты о международном философском съезде в Вене в 1968 году полны таких жалоб. Даже в области марксистской философии, говорилось в одном из отчетов, западные философы провели более оригинальную исследовательскую работу, чем советские. Вопросы марксистского и немарксистского гуманизма, соотношение между классовыми и надклассовыми или общечеловеческими элементами в различных доктринах рассматриваются и анализируются в Советском Союзе исключительно боязливо, слишком общо. Это верно особенно в отношении анализа и оценки современных общественных течений и идеологических доктрин. В отчете критикуется упрощенное толкование советскими философами ныне существующего плюрализма в марксизме: они объясняют его какими-то злыми делами каких-то отдельных людей, или непониманием, или поверхностным подходом и т.п. Без тщательной разработки этих проблем советские критические выступления против сторонников множества марксизмов не выйдут из рамок морализирующих нотаций и угрожающих поучений.

Далее в отчете указывается, что советские философы незнакомы с современной западной философией, терминологией и концепциями современных западных философов, а потому просто не в состо-

янии понять их доводы, их аргументацию. Более того, развитие философских школ и идей, появившихся после второй половины XIX века, остается для советской философии terra incognita²³.

Понятно, что такая идеологическая полифония в СССР не могла быть терпима долго, и началось ее подавление, особенно усилившееся в начале 70-х годов, после разгрома „Пражской весны”. Правда, „Вопросы философии” и в 1972 году, и в 1973, и даже в какой-то степени до сегодняшнего дня занимают здесь несколько привилегированное положение. Содержание „Вопросов философии” все еще сравнительно разнообразно, и время от времени там встречаются интересные споры по проблемам взаимоотношений современной науки, философии и т.п. Но поскольку эти дискуссии и обсуждения ведутся на весьма обтекаемом эзоповом языке, да еще с злоупотреблениями профессиональным жаргоном и стилем, — тезисы, выдвигаемые, защищаемые и обсуждаемые, часто остаются вне досягаемости для понимания среднего интеллигентного читателя. Поэтому „Вопросы философии” остаются неким оазисом для незначительного посвященного меньшинства, ученых, философов, а для широких масс образованного читателя (не говоря уже о необразованном) предлагается ортодоксально-партийная жвачка дискредитированных доктрин.

27 ноября 1969 года президиум Академии наук СССР выпустил директиву для советских философов, призывающую их строго придерживаться официальной марксистской философии и привести научные открытия в философское соответствие с официальной идеологией, объясняя их терминами и понятиями диалектического материализма. Ученым, философам также настоятельно предлагается за-

няться критикой современной буржуазной философии²⁴.

За этой директивой последовало в декабре 1971 г. создание Философского общества Союза Советских Социалистических Республик. Интересно, что во всех материалах съезда советских философов, образовавшего это общество, ни разу не упоминается слово *истина*, в то время как обычно считают, что цель философии — искание истины. Вместо этого в резолюции съезда говорится, что цель Философского общества — более широкое привлечение советских философов к устной и письменной пропаганде марксистско-ленинского мировоззрения. Советские философы должны вести борьбу против тенденций ревизионистско-терпимого отношения к религии и против всех уступок религиозному мировоззрению. Среди „прав” советских философов устав упоминает право участия в творческих дискуссиях по злободневным проблемам марксистско-ленинской философии и научного коммунизма. Но *долгом* советского философа остается активное участие в развитии злободневных вопросов философии научного коммунизма, участие в пропаганде достижений советской философии в борьбе против буржуазной идеологии и против ревизионистских искажений и догматических толкований марксизма-ленинизма²⁶.

В то же время на страницах официальной советской печати усилилась бурная кампания против теорий конвергенции, теорий „размывания” отличий между различными идеологиями в век единой и как бы объединяющей научной революции. Эта кампания коснулась и главного философского журнала Советского Союза, который в 1972 году должен был создать на своих страницах отделы, посвященные таким проблемам, как: социальные проти-

воречия капитализма, или идейная борьба; о диалектике социальных процессов; о диалектике общественных процессов, или критика современной буржуазной философии и социологии. Хотя официальная печать не могла прямо признать, что многие советские ученые и представители интеллигенции поддерживают теории конвергенции или желают конвергенции, то есть сближения Запада и Востока, сближения двух идеологий и обществ, многим стало ясно, что выпады против марксистских „ренегагов” — Р. Гароди и Э. Фишера (ведущих западных философов, марксистов-ревизионистов, исключенных, соответственно, из французской и австрийской компартии) — на самом деле были направлены и против либеральной русской интеллигенции, высказывания которой волновали советских идеологов больше, чем мысли иностранных авторов²⁷.

ПОВОРОТ К САМИЗДАТУ

Наука, ученые, идеология и конвергенция

Как мы уже сказали, после 1965 года официально было признано, что наука едина, вне зависимости от классовых, социально-политических и общественных различий. Если концепция предопределенности природы и среды не действительна по отношению к точным и естественным наукам, то почему же в отношении общественных наук, философии, культуры и идеологии должна оставаться в силе марксистская теория о том, что бытие и естественная среда определяют эти сферы деятельности и науки? Логика здесь, как будто, не хватает. В этих условиях признания особого положения естественных

наук, признания их независимости от внешней среды, в какой-то степени и от идеологии, именно в кругах ученых и естественников, конечно, и должны были в первую очередь появиться мыслители, ратующие за размывание барьеров между двумя мирами и за конвергенцию систем. Дискуссия на эту тему, фактически невозможная в официальной печати, вынуждена была перейти в Самиздат. С нею связаны, особенно на первом этапе, два имени — академика Андрея Дмитриевича Сахарова и Жореса Медведева, советского генетика-геронтолога, брата философа-марксиста Роя Медведева. Жорес Медведев в своих выступлениях против советского изоляционизма пользуется строго утилитарными научными доводами. Приводя конкретные примеры из практики последних 50-ти лет советской истории, советской науки и техники, Жорес Медведев указывает на ее неизбежное отставание, отсталость, и на все увеличивающийся технологический разрыв между Советским Союзом и некоммунистическими государствами из-за недостаточности информации в области ведущихся в мире научных исследований, открытий и опытов. В СССР от 80 до 90% всех поставленных и проведенных научных опытов повторяют, по незнанию, уже проведенные где-либо в мире, а иногда и в самом Советском Союзе, аналогичные опыты; на Западе же, благодаря гораздо лучше поставленной и более свободной системе информации, случайные повторения не превышают 10-20% всех научных работ. В СССР процент таких повторений неуклонно растет: от 40% в 1946 году до 80-85% в 1961 году. Иными словами, оригинальные опыты в СССР составляют только 15% от общего объема научных исследований. Эти повторы стоят стране миллиарды рублей, а между тем государство пытается экономить на иностранной валюте, запре-

щая индивидуальную, личную подписку на иностранные научные журналы и заменяя это централизованной подпиской на одну копию каждого научного журнала, получаемую особым институтом, где эти журналы ксерокопируют (хотя международный копирайт это делать и не позволяет) и затем рассылают соответствующим институтам. Ксерокопирование проводится только после строгой, тщательной цензуры каждого номера любого научного журнала, причем статьи, где содержится какая-либо критика состояния советской науки, не воспроизводятся. Все это: цензура, ксерокопирование, рассылка и получение копий журналов соответствующими институтами — занимает от четырех до семи месяцев, по истечении которых информация, содержащаяся в журнале и наконец полученная соответствующими советскими учеными, часто уже устаревает²⁸.

Медведев убедительно подсчитывает, что из каждых ста советских ученых, приглашаемых западными коллегами в научную поездку в их институты или на научные конференции за границу, только трем удается получить визу на выезд за рубеж. Эта изолированность приводит к катастрофическому замедлению технического прогресса — в области оборудования и в методах работы и исследований, в целых секторах советских естественных наук²⁹.

В условиях изоляции и недостаточного сотрудничества между учеными Советского Союза и остального мира единственной альтернативой для СССР остается воровать или копировать западные открытия, западное оборудование. Медведев приводит конкретные примеры такого копирования в Советском Союзе, которое еще больше расширяет и углубляет технологический разрыв, ибо современное научное оборудование до того сложно и сделано из таких сложных комбинаций материалов, что пока

его скопируют или украдут секрет его производства и пустят в эксплуатацию, оно уже зачастую устаревает, и на Западе появляются более современные и лучшие модели.

Сложность современной науки такова, что недостаточно признать универсальность естественных и технических наук и их независимость от политических систем. Необходимо также международное дифференцирование исследований, распределение исследовательских ролей в международном масштабе, чтобы свести к минимуму дублирование и повторение. Это может быть достигнуто, конечно, только в условиях тесного международного сотрудничества ученых, когда сами ученые смогут решать, какие лаборатории, в каких странах будут проводить какого рода исследования по определенным темам. Только в этих условиях может быть гарантирован научный прогресс, сопровождаемый снижением расходов. Такое сотрудничество, указывает Медведев, невозможно в условиях существования политических и идеологических преград. И он приходит к выводу: необходимо реорганизовать и нормализовать также систему международного научного технического или общеинтеллектуального сотрудничества; необходимо ввести юридические гарантии в сферу личных контактов советских ученых с гражданами других стран; юридические нормы должны быть введены там, где до сих пор господствовал лишь административный произвол. Для международного сотрудничества сверхгосударств и наций вредны только фанатические, крайние режимы, независимо от того, служит ли их базой капитализм или коммунизм³⁰. Медведев указывает на советскую поддержку полуфеодальных арабских государств и действия против централистского Израиля — как на пример того, что идеологическая

близость или идеологические различия больше почти не имеют значения в сегодняшних международных отношениях. Следовательно, эти же различия не должны мешать развитию международных культурных, научных, экономических и чисто человеческих связей.

Доводы Сахарова в пользу открытия границ в основном аналогичны доводам Жореса Медведева, за исключением того, что он гораздо больше внимания уделяет идее политической конвергенции обеих систем. Без конвергенции он не видит никакой перспективы для человечества, за исключением эвентуального ядерного конфликта или прогрессирующего обнищания малоразвитой части мира, которое приведет к голоду в мировом масштабе и в конечном итоге к восстанию голодающих азиатов, африканцев и южноамериканцев против развитого мира³¹.

Интересно, что ряд самиздатских авторов, отвечая на Меморандум Сахарова (1968 года), видят интеллектуальную свободу в качестве одной из функций духовных отношений между людьми, в качестве этической концепции, неотделимой от христианства и его ценностей. Политические потрясения, перенесенные нашим обществом в XX столетии, подорвали христианство как основную идеологическую силу нашего общества. Новая материалистическая идеология не могла и не сумела заменить исчезнувшие ценности. Возник моральный вакуум. В общественных отношениях это привело к моральному или нравственному раздвоению человеческой личности. С одной стороны — показная мораль, внешняя, претенциозно-коллективистская, а с другой — подпольная, внутренняя, первородно-хищническая, эгоцентрическая мораль. Это раздвоение породило общество внешнего механистического соли-

даризма, которое в подлинной своей сути основывается на индивиду, отчужденном от общества, индивиду, который боится своего соседа, который чувствует себя незначительным, одиноким существом перед лицом гигантской машины государства³².

Только моральное перерождение или возрождение общества может пересилить так называемую сталинщину или сталинизм, говорят авторы этого документа. Авторы одного из писем Сахарову, группа инженеров, считают, что главная задача интеллигенции и ученых — способствовать развитию этой новой общественной морали и этики. Православный священник, автор другого письма Сахарову, видит возможность нравственного возрождения только в возвращении к христианству — как к единственной колыбели подлинной свободы и концепции уважения человеческой личности. Что касается советской системы, то он говорит, что это великий исторический эксперимент, показавший, что произойдет с великой нацией, если ее лишить интеллектуальной свободы, — нация перестает быть великой. Говоря о духовном величии народа, автор иллюстрирует свою мысль указанием на плачевное состояние в сегодняшнем Советском Союзе культуры, литературы, искусства, человеческой мысли. Он подчеркивает, что почти все талантливые писатели в советском обществе через некоторое время деградируют, мельчают, за редким исключением таких потрясающе сильных личностей, как Александр Солженицын, исключением, которое только подтверждает правило³³.

Таким образом, в Самиздате мы видим тот же полный круг мысли, мыслительных тенденций, как и в открытой подцензурной печати, только эти тенденции выражены более прямо и более непосред-

ственно. Тот же круг: от утилитарных аргументов в пользу экономического, технологического и научного прогресса — до человеческой свободы, до признания абсолютной и не сводимой к частностям этики, отчуждения человеческой личности в материалистическом обществе, особой ответственности интеллигенции и ученых перед обществом в наш век новой научно-технической революции и беспрецедентного и неизбежного роста зависимости целых государств от общественно-этического поведения ученых, создающих эту самую научно-техническую революцию³⁴.

Одним из внешних стимулов, который мог как-то повлиять на появление сахаровского „Меморандума” и на последовавшее полное вхождение Сахарова в круги политического инакомыслия, могла быть его дискуссия с одним из ведущих советских публицистов Эрнстом Генри, видным специалистом по нацизму и фашизму. В этой дискуссии Генри говорит, что невозможно дальше терпеть положение, при котором роль ученых в мировой политике пропорционально совершенно не соответствует той роли, которую наука играет в современном мире. По его словам, пришло время, чтобы ученые начали требовать право более непосредственного влияния на судьбы мира. Пора ученым перестать играть роль безмолвных слуг политиканов, производя человекоубийственные, смертоносные орудия, а затем не имея никакой власти над использованием этих орудий³⁵.

Померанц, со своей стороны, развил целую теорию социальной эволюции, ведущей к обществу, где господствуют (и должны господствовать) ученые и интеллигенция. Только в этом видит он возможность оптимистической перспективы будущего, ибо общество, где интеллигенция свободна, — сво-

бодно, несмотря на все его недостатки; общество, где интеллигенция порабощена, — порабощено; и, наконец, требование свободы слова всегда исходит из рядов интеллигенции. Только среди нее циркулирует и живет Самиздат. Ни рабочий класс, ни крестьяне, ни бюрократия, по мнению Померанца, не нуждаются в свободе слова в той степени, в какой она жизненно необходима для ученого и писателя³⁶.

Однако даже поверхностное знакомство с уже упомянутой книгой Жореса Медведева, посвященной вопросам условий жизни и труда ученых, показывает, как далека советская реальность от осуществления вышеприведенных теорий Померанца. Это возвращает нас сейчас к необходимости глубокого философского, социологического и политического анализа состояния человечества, человеческого общества, и к таковому же анализу самой советской идеологии.

Философские работы в Самиздате

Опыт апокалипсических потрясений нашего столетия — ленинизм, гитлеризм, сталинизм, захват власти миниатюрными группами фанатиков, манипулирующих массами, — не мог не пошатнуть, и прежде всего в Советском Союзе, сами основы таких популярных в XIX веке философских концепций, как вера в основополагающий рационализм человеческого поведения, в исторический детерминизм, в существование каких-то объективных законов, руководящих общественными процессами. В то же время такие философские учения, как персонализм и вера в то, что личности и небольшие элиты, ведущие слои, есть подлинно ведущие и опреде-

ляющие агенты истории, в значительной степени заменили прошлое учение коллективизма, народничества, историзма, исторического детерминизма. В самиздатских работах много места уделяется свободному рассмотрению и изучению человеческой личности и мотивов ее поведения, а также ее роли в истории. Даже такой марксистский историк, или даже историософ, как Рой Медведев, вынужден был сосредоточиться на изучении личности Сталина, ища ключи к истокам первопричин его террористической власти. Для марксиста это иронический, парадоксальный оборот: ведь, согласно марксизму, не личности решают ход истории. Более того, Рой Медведев даже критикует буржуазных историков за то, что они смеют слишком тесно связывать преступления Сталина с советской общественно-политической системой³⁷.

Гораздо более глубокое осознание роли и значения человеческой личности и взаимоотношения личности и масс в истории мы можем найти в работах Александра Солженицына, который в „Августе Четырнадцатого” для наглядного утверждения своих персоналистических тезисов вводит даже диалог одного из главных своих героев с Львом Толстым, который, как известно, был детерминистом и коллективистом³⁸.

Вообще в работах с философским уклоном в Самиздате наблюдается все растущий интерес к иррациональному — в частности, интерес к Фридриху Ницше³⁹. Рост интереса к Ницше напоминает эру русского религиозно-философского ренессанса начала XX века, когда ницшеанство оказало огромное влияние на русскую интеллигенцию, начинавшую отворачиваться от натурализма, материализма и детерминизма XIX века, от наследия Гегеля и Маркса. Отмечая нерациональное поведение масс в

ходе революции 1905 года, эти русские мыслители того времени начали уделять все больше внимания нерациональным моментам, руководящим поведением человека⁴⁰. Интерес к Ницше вызван его вниманием к иррациональному в человеке и в истории, его концепцией значимости человеческой личности, его элитизмом и тем, какое значение он придавал человеческим страстям и эмоциям. Именно в этом некоторые христианские мыслители видели близость Ницше к христианству, несмотря на его личный атеизм. Путь неподцензурных современных русских мыслителей, поскольку это можно судить по материалам Самиздата, очень близок к их предшественникам, к русским мыслителям религиозно-философского ренессанса перед революцией, — и действительно поражаешься, как часто в современных мировоззренческих и философских самиздатских работах встречаются ссылки на этих мыслителей, хотя их работы в Советском Союзе официально не издавались по крайней мере с 1923 года⁴¹. В философских работах по проблеме человека — это одна из центральных тем в русской свободной философии — сегодня наблюдается возврат к традиционному русскому философскому антропоцентризму, с его пессимистической экзистенциальной концепцией одиночества человека и отчуждения человеческой личности от общества и друг от друга⁴². Один из самиздатских мыслителей в очень интересной статье о русской интеллигенции и культуре указывает на ужасное одиночество современного русского интеллигента и охватывающее его сознание своей покинутости, как только он начинает углубляться в темы, идущие дальше, чем личная карьера и повседневный быт. Автор утверждает, что современный интеллигент потерял те особенности, которыми жил его дореволюционный коллега, описанный в сбор-

нике „Веги”. Тот был аскетическим атеистом, чей атеизм был фактически религией, поставленной на голову. Он обожествлял науку и все, что было с ней связано. Он оптимистически верил в простой народ и в прогресс. Будучи атеистом, он парадоксальным образом считал нематериальную культуру второстепенной. Вспоминая печально знаменитый афоризм Писарева — сапоги выше Шекспира, — автор считает, что современный русский интеллигент — лучший ценитель искусства и культуры и ставит эти ценности выше сапогов. Однако в практическом, в повседневном быте он более заинтересован в личном материальном комфорте, чем его атеистический предшественник. Современный интеллигент, в общем, не атеист, но зачастую безразличен к религии. Он, правда, уважает церковь как учреждение, сыгравшее положительную историческую роль в культуре, в развитии страны, и признает, что храмы имеют несомненную эстетическую архитектурную ценность. Современный интеллигент не верит в науку, и его неверие в Бога скорее основано на прагматическом размышлении. Он ставит вопрос: как может существовать Бог, как Он может терпеть те ужасы, которым было подвергнуто человечество в наш XX век? В то же время современный интеллигент в России не верит в прогресс и будущее счастливое, справедливое общество. Он также потерял веру и в величие человеческого разума и в разумность, в рациональность как руководящие факторы жизни и поведения людей. В этой тенденции современного русского интеллигента к иррационализму автор видит некоторую надежду на подлинное духовное, религиозное возрождение интеллигенции. Но эта надежда, по его словам, далека от осуществления. Современный интеллигент часто успокаивается на некоем двойственном (или двойном) сознании. С одной

стороны, его тянет к каким-то формам абстрактного спиритуализма с восточно-мистическими примесями, в общем совместимого с циничным прагматизмом в повседневном быте. Тут ему не хватает ясных этических установок. Его традиция мысли идет к Достоевскому, к афоризму Достоевского о том, что без Бога все позволено. В повседневном быте путем приобретенного опыта интеллигент пришел к выводу, что порядочность удобнее в жизни, чем непорядочность. (Удобнее и безопаснее иметь порядочного соседа.) Но абсолютные императивы добра и зла все еще чужды среднему советскому интеллигенту. Все остается относительным. Он вступает в компартию под тем предлогом, что если в партию вступит много порядочных людей, партия станет порядочнее. Но однажды вступив в нее, он подчиняется партдисциплине и начинает голосовать за резолюции, осуждающие гражданское мужество. Автор видит дилемму в том, что человек, утратив христианство как основу жизни, теряет при этом установку абсолютной ценности свободы и добра, заменяя их относительными ценностями, основанными на постулате необходимости, который есть трагедия добровольного отказа от свободы. Это порождает ряд иллюзий, основанных на принятии необходимости как основы деятельности. Послереволюционная интеллигенция на этом основании создает себе одну иллюзию за другой, расплачиваясь за них в конечном итоге собственной кровью. Одной из первых иллюзий была — до 1921 года — иллюзия того, что советский режим перерождается, по аналогии с послереволюционной французской республикой Директории. Последнюю иллюзию в этой серии автор статьи видит в существовавшей в 1960-х годах надежде на то, что в СССР строится технологическое деидеологизированное общество, лидеры кото-

рого будут прислушиваться к технической интеллигенции и принимать ее реформистские советы и предложения. Согласно мысли автора, только возвращение к признанию несводимости понятий добра, зла и свободы к понятиям относительных ценностей, признание совершенной абсолютности христианских ценностей — только это может дать надежду на спасение как России, так и человечества в целом⁴³.

Эта статья породила целую серию публикаций в том же роде, а также дискуссию на страницах журнала „Вестник РХД”, в которой приняли участие как авторы Самиздата из России, так и некоторые мыслители русского рассеяния. В этой волне дискуссии другой автор признает указанные выше болезни современной русской интеллигенции и русского советского общества, путаясь в собственном противоречии: какой ужас, говорит он, я не верю в Бога, но я живу и думаю, как будто я верю. И далее он утверждает, что религия нашего времени — атеизм, признавая затем трагический результат этого: утерев Бога, человек обнищал. Говоря о современном человеке, он высказывает мнение, что большинство людей не доросло до религии, что ограниченные человеческие пять чувств не способны воспринять бесконечность. И после примерно ста страниц биения себя в грудь и аргументов и споров с Богом и самим собой, этот автор вздыхает: о нет, современный человек, даже если он хочет верить, верить не в состоянии. И затем добавляет: О, Господи, взгляни на мои слезы! Взгляни! Увидь, как Твой сын страдает, сын, которого Ты отдал во власть смерти⁴⁴.

Далеко не все страдают от таких противоречий. Многие философские эссе Самиздата говорят о до-

стигнутой, приобретенной вере и об убежденности в христианстве.

Тут следовало бы подвести некоторые итоги. В 50-х годах философски настроенные молодые люди в основном занимались изучением Ленина, Маркса и других марксистских мыслителей. Некоторые из групп этих мыслителей до середины, а то и до конца 60-х годов занимались еще изучением марксизма, часто вступая в конфликт с властями, ибо из изучения классиков марксизма они делали выводы, критиковавшие существующий в СССР общественно-политический строй⁴⁵. К концу 60-х и в 70-х годах в Самиздате начало появляться все больше философско-критических работ, свидетельствовавших о постепенном отходе от Маркса и марксизма. Интересно, что в некоторых из этих работ проявилось полное внутреннее отрицание всей системы диалектики — от Гегеля до Маркса, и даже плохое знание этой диалектики — некие сознательные или подсознательные пробелы. Для некоторых из этих мыслителей философия — это Кант, Шопенгауэр, Шпенглер, Соловьев, Франк, Бердяев, о. Павел Флоренский, даже Фрейд (один из авторов считает заслугой Фрейда очистку лицемерных пуристских сараев, а также лицемерного эстаблишмента официальной Церкви и нанесение им смертельного удара по рационалистическим иллюзиям, — тем, что он, открыв миру сферу подсознания, снов и их роли в человеческой жизни, реабилитировал этим мистику, мистицизм⁴⁶).

Григорий Померанц отстаивает теорию культуры и эволюции человека на основании взаимной игры сознательного и подсознательного. По его мысли, человек в патриархальной сельской культуре был почти безусловно подсознательным наследственным носителем религии, в которой все этические уста-

новки принимались как само собою разумеющееся и утверждались им. Потрясения последнего столетия — с их заменой глубоко укорененной культуры подсознательной этики беспочвенным атеистическим пролетариатом, обожеествляющим естественные науки, и аналогичными профессиональными классами — сильно подорвали, если не окончательно разрушили эту наследственную этическую культуру. Померанц называет новую интеллигенцию сегодняшнего дня неким ренессансом, поставленным на голову, ибо если во время западноевропейского ренессанса богословы и философы занимались и естественными науками, сегодня математики изучают религию, вопросы этики, нравственности и культуры. Сознвая или ощущая тупик, в который привел общество материализм, новая интеллигенция начинает сознательно возрождать, принимать и популяризировать то, что раньше, в коренной культуре, воспринималось бессознательно, по традиции или из суеверного страха. Тогда как значительная часть традиционной религии была религией необходимости или привычки, сегодня возрождающаяся религия в России — это религия свободы. Свободы искать искомое и свободы приобретать. В этом Померанц видит надежду на будущее⁴⁷.

С чисто философской точки зрения, самая профессиональная работа Самиздата — „Практическая метафизика” А. Московита*. Эта работа свидетельствует не только о глубоких религиозных поисках, но и об очень оригинальной логике автора. Для него метафизика — то, что лежит за пределами физического и материального опыта, это суть и базис

* Андрей Московит — псевдоним известного писателя И.М. Ефимова (по образованию — инженера), в 1978 г. эмигрировавшего из СССР.

всей жизни. Он разрабатывает теорию игр для детей, как и для взрослых, утверждая, что игры всегда направлены к свободе, будучи в некотором смысле актом проявления или завершения свободной воли. Удовлетворение получается в процессе достижения, а не в результате завершения действия. Чем более сложен процесс, тем больше удовлетворение, вне зависимости от рациональности действия, как, например, удовлетворение от спорта во имя спорта. Иными словами, степень невероятности достижения победы прямо пропорциональна степени удовлетворения, хотя тут есть ограничения с обеих сторон. Наконец, для того, чтобы игра удовлетворяла игрока, она должна быть свободной, и решение партнеров участвовать в ней тоже должно определяться свободой воли. Это и есть основа его доводов в пользу примата свободы и свободной человеческой воли во всех родах действий и в пользу примата стихийности над рациональностью и командой. С другой стороны, только свобода связана с ответственностью. Чтобы преступника обвинить в совершении преступления, надо, чтобы он был бы свободен, чтобы его преступление было его свободным актом. Солдат, убивающий людей на фронте, обычно не считается убийцей, потому что его действия не подвержены свободному волеизъявлению. Им командуют.

Анализируя иерархическую шкалу ценностей Шопенгауэра, автор делает вывод, что единственным допустимым и уникальным критерием для того, чтобы считать человека выше остальных форм, остальных видов творения, может служить степень наличия у него воли и степень участия воли, свободной воли, в его действиях, и возможность ее применения каждой тварью; значит иерархия развития определяется тем, в какой степени действия человека руководствуются свободной волей, в какой степе-

ни — действия нижестоящего животного и т.д. Поэтому воля объективизируется в природе на разных уровнях свободы. На этом основании, утверждает Московит, все твари обладают какой-то степенью свободы, собственной свободы, поднимаясь от самых низких до человека, а затем от человека до Бога, Бога, Который единственно является абсолютной свободой и единственным источником свободы и воли. Страдания — всегда признак обретения нашей воли, ограничения свободы, обнаружения нашей волей границ свободы, то есть признания ее свободы. Каждое расширение этих границ неотрывно связано с удовлетворением, счастьем, радостью. Московит считает это чувство и волю к свободе — чувством Царства Божьего внутри нас (Евангелие от Луки 17, 21). Этого человек ищет в своем стремлении к свободе, в любых, самых неожиданных условиях, часто с очень небольшой надеждой на достижение желаемого, рискуя потерей того, чем он обладает. Эти поиски, эти жертвы не могут быть объяснены в рациональных терминах, рациональными понятиями, и тем не менее они — основа всего творчества и прогресса в жизни. Это стремление — жажда к свободе — может быть воспринято и объяснено, понятно только метафизически⁴⁸.

В начале статьи я сказал, что подход к проблеме человека и его одиночеству в Самиздате чисто экзистенциальный. В заключение следовало бы добавить, что те пишушие на мировоззренческие и философские темы авторы Самиздата, которые видят какую-либо надежду для человека, видят ее только в христианско-экзистенциальных рамках.

ПРИМЕЧАНИЯ И СНОСКИ

¹ Хрущев боролся за Лысенко и его, с позволения сказать, школу до последнего. См. подробности в книге Жореса Медведева „Взлет и падение Лысенко”, англ. изд.: Нью-Йорк, 1971, — особенно 223-238 сс. На с. 225 Медведев говорит, что Суслов в своей речи на Пленуме ЦК КПСС (12.-24.10.64), между прочим, обнял Хрущева за его поддержку Лысенко, за его подавление генетики и за его попытки ликвидировать Академию наук вообще в 1963 г., потому что она отказалась принять в состав действительных членов Академии кандидатов, выдвинутых Лысенко и Хрущевым.

В 1967 г. появилась интересная статья на эту тему, написанная видным советским кристаллографом; автор предупреждал об опасности тоталитаризма в науке. См.: Николай Белов. Под тенью парадоксов. — „Лит. газета”, 7.6.67.

² И.А. Акчурин и др. — „Вопросы философии”, № 11, 1966. См. также интервью Михаила Лаврентьева, президента Сибирского отделения Академии наук СССР. В этом интервью он жалуется, что естественные науки преподаются в советских университетах с отставанием от подлинного состояния этих наук на 10-20 лет. См. статью „От идеи до машин” — „Лит. газета”, 1.1.70, с. 10.

³ Проф. Фок. Квантовая физика и философские проблемы. — „Вопросы философии”, № 3, 1971, сс. 46-48.

⁴ Проф. Л.Л. Васильев. Внушение на расстоянии. — Москва, 1962. Также: Stanley Krippner and Richard Davids on. Parapsychology in the USSR. — „Saturday Review”, 18.3.72, pp. 56-60.

⁵ Эта статья покойного Б.И. Шенкмана, опубликована посмертно. До своей смерти в 1962 г. он был преподавателем в Плехановском институте народного хозяйства в Москве. Статья появилась в „Вопросах философии” (№ 12, 1966) под названием „Духовное производство и его особенность”.

⁶ „Вопросы философии”, № 5, 1967, сс. 16-18. Б. Кедров был одним из главных сторонников Лысенко в разгар карьеры последнего, но в 60-х годах сделал крутой поворот и выступил с выпадами против Лысенко. См., напр., „Новый мир”, № 1, 1965.

⁷ Чтобы защитить себя от обвинений в диалектических ересьях, Кедров в этой статье цитирует доклады на XXIII

партсъезде. См. материалы XXIII съезда КПСС, с. 123, место, где, цитируя, он говорит: научные исследования должны определять ясную и определенную во времени перспективу производства и прогрессивных решений. Другой советский философ, Д.В. Г у р ь е в, пытался решить проблему, что чему предшествует, эмпирически. Согласно Гурьеву, первобытный труд предшествовал сознанию, но это был не сознательный труд человека, а австралопитеков, которые, собственно, не были людьми в нашем понимании этого слова. Человеческий труд, труд сознательный — это рациональный процесс, поэтому он подчиняется мысли и сознанию. В то же время сознание — неотъемлемый компонент человеческой деятельности. Поэтому весь вопрос причины и следствия смещен. Труд и сознание в нужный момент — это коллеги, товарищи, компаньоны. См. его статью „Предшествовал ли труд сознанию?“ — „Вопросы философии“, № 2, 1967, сс. 58-65.

8 А.М. Р у м я н ц е в — высокопоставленный партийный идеолог и вице-президент Академии наук СССР, часто выступающий как рупор партии, хотя его защита большей свободы для интеллигенции стоила ему потери поста главного редактора „Правды“ в 1965 году. См. его статью „Партия и интеллигенция“ — „Правда“, 21.2.65. В последние годы Румянцев был снят с поста директора Института социологических исследований АН СССР за попытку способствовать прагматическим исследованиям и за поддержание прагматической социологии вместо идеологического диктата в этой науке.

9 „Вопросы философии“, № 4, 1969.

10 Но что такое метанаука, метаматематика, металогика, если не ограниченные и специфические вариации оригинальной версии той же метафизики. См. эти термины в работе покойного профессора П.В. К о п н и н а „О природе и особенностях философского знания“ — „Вопросы философии“, № 4, 1969, с. 123. Ведущий советский биолог В.А. Э н г е л ь г а р д т повторяет чисто метафизическую формулу Платона, что сумма больше, чем ее компоненты, потому что она также содержит неизвестную частицу u , 2 и 2 равняется 4 . Четыре содержит не только две двойки, но и неизвестный компонент u , поэтому сумма больше, чем ее составные части, и он утверждает, что естественные науки, как и философия, сегодня стоят перед объективным поиском, что такое u . См. его статью „Путь от простого к сложному в познании явлений жизни“ — „Вопросы философии“, № 11, 1970, сс.

104-105. См. также статью советского физика, ныне эмигранта, В.Ф. Турчина „Сумасшедшие теории и метанаука” — „Вопросы философии”, № 5, 1968, с. 122. Он ссылается на афоризм датского физика Нильса Бора о том, что новая теория для того, чтобы быть верной, вначале должна казаться сумасшедшей, и, развивая эту мысль, говорит, что здесь слово „сумасшедшая” нужно понимать как исходящая из ничего, не имеющая себе предшественников. Это возвращает нас к основному тезису Библии, что Бог создал мир из ничего. Новые изобретения рождаются тоже из ничего, только из интуиции.

11 Д-р эконом. наук Г.М. Д о б р о в . Критерий выбора. — „Природа”, № 1, 1969, с. 10. См. также брошюру А.С. Кармина и Е.П. Хайкина „Творческая интуиция в науке”. — М.: „Знание”, 1971.

12 П.В. К о п н и н . О рациональном и иррациональном. — „Вопросы философии”, № 5, 1968, сс. 114-120.

13 Дмитрий Б л о х и н ц е в . О физических основах квантовой механики. — „Вопросы философии”, № 3, 1969, с. 134.

14 Мария П е т р о с я н на Белградском симпозиуме, посвященном столетию со дня опубликования первого тома „Капитала” Маркса. Ее интервью — в белградской газете „Политика”, 24.5.67.

15 „Вопросы философии”, № 9, 1967, сс. 118-121.

16 „Вопросы философии”, № 9, 1967, сс. 137-146.

17 Там же, сс. 148-149. Его статья о Достоевском в связи со 159-летней годовщиной рождения Достоевского — в „Новом мире” (№ 11, 1971) — говорит фактически о том же.

18 „Карнавальное и серьезное”, — „Народы Азии и Африки”, № 2, 1968, сс. 107-116; „По поводу диалога” и „Человек ниоткуда” — обе статьи (или эссе) см. в сб.: Г. П о м е р а н ц . Неопубликованное. — Франкфурт/Майн: „Посев”, 1972, сс. 236-244 и 138-142.

19 „Карнавальное...”, с. 109 и „По поводу...”, с. 238.

20 Там же, с. 238.

21 „Новый мир”, № 10, 1969, с. 225 и пр. См. также интересную статью генетика В. Э ф р о и м з о н а „Родословная альтруизма” — „Новый мир”, № 10, 1971, сс. 193-213, где автор видит солидарность и гармонию, а не взаимную борьбу и антагонизм основными конструктивными факторами эволюции жизни, выживания и прогресса. Эфроимзон затем был

поддержан в этом тезисе академиком Б. А с т а у р о в ы м , президентом Всесоюзного общества генетиков, в статье „Homo sapiens et humanus” — „Новый мир”, № 10, 1971, сс. 215-224. Затем Эфроимзон подвергся нападкам со стороны догматиков. См., напр., „Новый мир”, № 5, 1972.

22 „Наука людей” — „Новый мир”, № 11, 1969, сс. 200-203 и др.

23 Л.Н. М и т р о х и н . Заметки о философском конгрессе. — „Вопросы философии”, № 1, 1969, сс. 137-145.

24 См. „Вопросы философии”, № 3, 1970, сс. 139-142. Интересно, что эта директива была опубликована в философском журнале с четырехмесячным опозданием. По-видимому, против нее была какая-то серьезная оппозиция среди советских философов.

25 Ф.В. К о н с т а н т и н о в , отчет конгрессу. — „Вопросы философии”, № 1, 1972, сс. 25-39.

26 Полный текст Устава см. в „Вопросах философии”, № 2, 1972, сс. 142-145. См. также: Д. П о с п е л о в с к и й . Философское общество Союза Советских Социалистических Республик, англ. изд. Исследовательского бюллетеня радио „Свобода”, № 64/72, 15.3.72.

27 О более ранних заявлениях советских ученых в защиту принципа конвергенции см.: Д. П о с п е л о в с к и й . Теории конвергенции и их противники, русск. изд. Исследовательского бюллетеня радио „Свобода”, № 359/69, 30.10.69. Нападки на ревизионистских ренегатов см. в „Вопросах философии” в серии статей советского ортодоксального философа Х.Н. М о м д ж а н а , начиная с его „Философии ренегатства” — „Вопросы философии”, № 11, 1972, сс. 209-233.

28 Жорес М е д в е д е в . Бумаги Медведевых, Лондон, 1972 (на англ. яз.). Русская редакция — „Международное сотрудничество ученых”, сс. 150-158. Аналогичные, пессимистические, выводы об изолированности и отставании советской науки можно найти по крайней мере еще в одном официально изданном источнике, см.: В.В. Н а л и м о в и Ж. М у л ь ч е н к о . Наукометрия. — М., 1969.

29 Ж. М е д в е д е в . цит. ист., сс. 141 и 188-190.

30 Там же, сс. 38-39 и 206-208. Интереснейшая часть этой книги — рассказ о подпольном возрождении генетики, которую проводил профессор Н. Тимофеев-Ресовский, в то время недавно выпущенный из концлагеря.

31 Иллюстрацией идейной эволюции С а х а р о в а может служить хотя бы то, что еще примерно за год до появления

„Меморандума” („Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе”) его позиция была явно антизападной и в своем диалоге с Э. Г е н р и он обвинял в международной напряженности Соединенные Штаты. См. „Политический дневник”, 30 марта 1967 г., сс. 197-205. В 1968 году он уже был гораздо более критичен в отношении Советского Союза, а теперь он утверждает, что потерял всякую веру в социализм и считает себя либералом. См.: „Посев”, № 8, 1973.

32 „Надеяться или действовать?” АС 70, сс. 1-2.

33 Священник о. Сергей Ж е л у д к о в . К размышлениям об интеллектуальной свободе. — „Вестник РСХД”, № 94, 1969, сс. 46-57.

34 Например, С. З о р и н и Н. А л е к с е е в , цит. ист., сс. 45-46.

35 Диалог между публицистом Э. Г е н р и и ученым А. С а х а р о в ы м . — „Политический дневник”, сс. 198-204.

36 Человек ниоткуда, сс. 129-138.

37 „К суду истории” (англ. изд.: „Let History Judge”). — Нью-Йорк, 1972, pp. XXXII-XXXIII.

38 Этот открытый и скрытый диалог с Л. Толстым особенно виден в его „Августе Четырнадцатого”, но персоналистическое мировоззрение С о л ж е н и ц ы н а видно в каждом его произведении.

39 Револют П и м е н о в , молодой ленинградский профессор математики, признал на суде (в 1957 г. его судили за организацию подпольной антикоммунистической группировки), что он изучал Ницше и находился под его влиянием. См.: Р. П и м е н о в . История одного процесса. — „Вольное слово”, № 8, 1973, сс. 49, 53, 76 и 89. Частые ссылки на Ницше можно видеть в работах Григория Померанца и в работе Виктора В е л ь с к о г о , апокалипсическом философском эссе „Откровение Виктора Вельского” — „Грани”, № 75, 1970, сс. 3-114. Влияние Ницше видно и в самиздатской рукописи „Инок”, молодого ленинградского мистика и театрального режиссера Евгения Шифферса. См. 9-ю главу этой книги; а также работу А. М о с к о в и т а „Практическая метафизика”, две главы из которой опубликованы в „Гранях” № 87/88, сс. 316-370.

40 См. знаменитый сборник „Веи”, опубликованный в Москве в 1909 году. Об огромном влиянии Ницше на то поколение русской интеллигенции говорится также в автобио-

графических набросках поэта Бориса Пастернака „Люди и положения” — „Новый мир”, № 1, 1967.

41 Среди чаще всего повторяющихся в работах Самиздата фамилий русских философов можно назвать Алексея Хомякова, Ивана Киреевского, Владимира Соловьева, Федорова, отца Павла Флоренского, Василия Розанова, Николая Бердяева, Семена Франка, Льва Шестова, о. Сергия Булгакова и многих других.

42 Отличный образец первого — мистическая философская исповедь „Откровения Виктора Вельского”, а второго — работа Московита.

43 О. Алтаев. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. — „Вестник РСХД”, № 97, 1970, сс. 8-32. См. также: Надежда Мандельштам. Вторая книга. — Париж, 1972, особенно сс. 86-88.

44 „Вестник РСХД”, цит. ист., сс. 105-114.

45 См. Владимир Осипов. Площадь Маяковского, статья 70-я. — „Грани”, № 80, сс. 110-111. Об обществе коммунаров 1964-65 года см.: „Посев”, № 1, 1968, сс. 11-12, и в различных выпусках „Хроники текущих событий”.

46 Е. Шифферс. „Инок”. — Самиздат, без даты и места издания, сс. 114-116.

47 См. особенно его короткое эссе „Незавершенность”, цит. ист., сс. 115-122.

48 А. Московит, цит. ист., включая блестящее введение в эту работу, составленное русским эмигрантским философом д-ром Романом Редлихом, с. 316-317, 340-346, 351-356 и 365-370. Только 47 страниц из 400 страниц рукописи опубликованы в „Гранях”. Р.Н. Редлих, прочитавший всю рукопись, комментирует, что автор прекрасно знает Канта и Шопенгауэра, но полностью пренебрегает Гегелем и Марксом. Московит ссылается также на христианско-экзистенциального философа-богослова С. Франка, но, несмотря на пробелы в формальной эрудиции, философский метод автора показывает, что это оригинальный, интересный мыслитель.

В.В. ШУЛЬГИН

Годы

Воспоминания члена Государственной Думы

*

Шестое марта, согласно принятому на парламентском жаргоне выражению, было „большим днем”. В Государственной Думе выступал председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин.

Этот человек, родившийся 14 апреля 1862 года, уже раньше (и по сравнительно незначительному случаю), обратил на себя внимание. Будучи с 1908 года саратовским губернатором, он выказал отвагу и находчивость в подавлении так называемого „саратовского бунта”.

Получив известие, что на большой площади собралась огромная толпа, он тотчас же, не дожидаясь эскорта, поехал на место происшествия. Подъехав к толпе, он вышел из экипажа и прямо пошел к разъяренному народу. Когда поняли, что приехал губернатор, к нему бросились люди с криками и угрозами, а один дюжий парень пошел на него с дубиной. И Россия никогда бы не узнала, что такое Столыпин, если бы губернатор, заметив опасность, не пошел прямо навстречу парню. Когда они встретились вплотную, Столыпин скинул с плеч николаевскую шинель и бросил ее парню с приказанием:

Эти главы из готовящейся к выходу в свет в издательстве „Посев” книги известнейшего русского общественного деятеля и публициста мы печатаем в журнальном варианте.
— Р е д .

— Подержи!

Буян опешил и послушно подхватил шинель, уронив дубину. А губернатор с такой же решительностью обратился к толпе с увещеваниями и приказанием разойтись. И все разошлись.

Есть люди, таящие в себе еще мало изученную силу повелевать. Быть может, это гипноз своего рода, быть может, что-либо другое, но это не единственный случай.

Нечто очень похожее произошло с императором Николаем I. Как рассказывали, во время чумного бунта в Москве он поскакал к толпе и, осадив коня, крикнул:

— На колени!

И стали на колени.

Эти случаи сами по себе не обозначают ничего больше, как только властность, присущую некоторым людям. Но когда по велению судьбы некто из породы таких людей становится властителем, наличие такого совпадения обычно обеспечивает толковое управление.

Я хочу сказать, что бывший саратовский губернатор, став в июле 1906 года во главе Российской империи, должен был показать себя именно с этой стороны, и он сделал это 6 (19) марта 1907 года в зале Дворянского собрания.

Произошло это так.

Ф.А. Головин, председатель Государственной Думы, сказал с оттенком некоторой торжественности в голосе:

— Слово принадлежит председателю Совета министров.

Столыпин взошел на кафедру. Он был высок ростом, (на полголовы выше меня), и было нечто

величественное в его осанке.

Несколько позже в левых газетах нашлись борзописцы, которые, сравнивая Столыпина с Борисом Годуновым, писали: „Брюнет, лицом недурен и сел на царский трон”.

Столыпин, действительно, был брюнет, но про него нельзя было сказать, что он „лицом недурен”. Был ли он красив? Пожалуй. Я бы сказал, что Столыпин был именно таков, каким должен быть премьер-министр: внушительен, одет безукоризненно, но без всякого щегольства. Голос его не был колокольным басом Родзянки, но говорил он достаточно громко, без напряжения. Особенность его манеры говорить состояла в следующем: Столыпин вовсе не беседовал с аудиторией. Его речь плыла как-то поверх слушателей. Казалось, что она проникая через стены, звучит где-то на большом просторе. Он говорил для России. Это подходило к человеку, который если не „сел на царский трон”, то при известных обстоятельствах был бы достоин его занять. Словом, в его манере и облике сквозил все-российский диктатор. Однако диктатор такой породы, которому органически не свойственны были грубые выпады.

Впрочем, на этот раз его речь была, собственно, не речь, а искусное чтение декларации правительства. Основная мысль этого документа состояла в следующем.

Есть эпохи и эпохи. Есть периоды, когда государство живет более или менее мирною жизнью. И тогда внедрение новых законов, вызванных новыми потребностями, в толщу прежнего векового законодательства проходит довольно безболезненно.

Но есть периоды другого характера, когда в силу тех или иных причин общественная мысль приходит в брожение. В это время новые законы могут идти вразрез со старыми, и требуется большое на-

пряжение, чтобы, стремительно двигаясь вперед, не превратить общественную жизнь в некий хаос, анархию. Именно такой период, по мнению Столыпина, переживался Россией.

Чтобы справиться с этой трудной задачей, правительству необходимо было одной рукой сдерживать анархические начала, грозящие смыть все исторические устои государства, другою — в спешном порядке строить леса, необходимые для возведения новых зданий, продиктованных назревшими нуждами.

Другими словами, Столыпин выдвинул как программу действий правительства борьбу с насилием революционным, с одной стороны, и борьбу с косностью — с другой. Отпор революции, покровительство эволюции — таков был его лозунг.

Не углубляясь на этот раз в комплекс мероприятий по борьбе с революцией, то есть пока что не угрожая никому, Столыпин занялся изложением реформ, предлагаемых правительством в направлении эволюционном.

На эту спокойную речь левые ответили открытыми угрозами. Головин, сильно утомленный, как будто бы задремал в своем председательском кресле. Но он был разбужен из своего полусна криками справа. Особенно явственно кричал академик Г.Е. Рейн, депутат от Волыни, обращаясь к председателю:

— Да остановите же вы их! Недопустимо, чтобы они угрожали вооруженным восстанием...

Головин встал, привел в движение председательский звонок и сказал спокойно:

— Прошу вас не угрожать вооруженным восстанием...

Последовали еще речи слева. Особенно страстно декламировал И.Г. Церетели — в том же угрожающем тоне. Наконец Столыпин вторично потребовал

слова. И сказал примерно так:

— Правительство предложило Думе целый ряд реформ. Реформы эти направлены прежде всего на то, чтобы повысить материальное благосостояние народа, и затем, чтобы дать ему относительную свободу, ибо недостаток есть „кованая свобода”. Но некоторым членам Думы угодно было ответить угрозами. На это я скажу в полном сознании своей ответственности:

— Не запугаете!

Эти слова облетели всю Россию. Потерявшие почву под ногами, изверившиеся во власти люди ощутили, что Россия вновь обрела сильное правительство. Армия, чиновники, полиция и все граждане, не желавшие революции, приободрились и стали на свои места. Это сделали два слова:

„Не запугаете!”

Такова была моя первая встреча со Столыпиным, сыгравшим огромную роль в моей жизни. Со страстью, свойственной молодости, я отстаивал с кафедры Государственной Думы его программу, потому, что считал предначертанный им путь действий единственно правильным для спасения России и ее дальнейшего эволюционного развития. Несомненно, Столыпин был наиболее выдающимся государственным деятелем Российской империи в последний ее период. Это признавали и враги его.

Вскоре я сблизился с Петром Аркадьевичем и, кроме уважения, стал питать к нему более теплые чувства.

Прошло четыре с половиной года после 6 марта.

За это время Столыпина не запугали. Он продолжал бесстрашно вести государственный корабль так, как находил нужным. Его не могли запугать ни левые, ни правые. И потому они убили его. Это произошло 1 (14) сентября 1911 года в Киеве.

КРИЗИС

Наконец, после трех туров обсуждения, 29 мая (11 июня) 1910 года законопроект „о применении положения о земских учреждениях 14 (26) июня 1890 года к губерниям Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и Подольской” был принят Государственной Думой в целом большинством 165 голосов против 139 при 8 воздержавшихся и передан в редакционную комиссию.

Но тут-то и начались „необыкновенные приключения” законопроекта о национальных куриях*.

Всякий законопроект, прошедший через одну палату, поступал в другую, в данном случае, в Государственный Совет, куда он и был направлен 1 (14) июня 1910 года после утверждения Государственной Думой его редакции. И тут-то разорвалась бомба. „Рассудку вопреки, наперекор стихиям” Государственный Совет провалил законопроект, отклонив его 11 (24) марта 1911 года.

Вот как это случилось.

* Этот вызвавший в правительстве страны кризисную ситуацию, законопроект был направлен на то, чтобы выборы в западных губерниях России происходили по принципу национальному, а не по принципу большинства (так, русские должны были бы выбирать русских, поляки — поляков и т. д.). Таким образом П. А. Столыпин и его сторонники хотели обеспечить защиту избирательных прав национальных меньшинств „в тех случаях, когда большинство той или иной национальности, настроенное шовинистически, не пропускает в Государственный Совет кандидатов меньшинства”.

— Р е д .

Законопроект был провален оппозицией, соединившейся с частью правых. Каким образом могло случиться, что правительство Столыпина внесло в палаты законопроект, не обеспечив себе согласия Государственного Совета? Надо думать, что Столыпин рассуждал примерно так.

— Правительство его величества не может вносить важный законопроект, не отвечающий воззрениям государя. Мы не Англия, где король царствует, но не управляет. Русский царь не только царствует, но и управляет. Значит закон о куриальном земстве был внесен в палаты с согласия императора.

Поэтому Столыпину представлялось, что члены Государственного Совета по назначению (а их была половина), будут голосовать, по крайней мере в своем большинстве, за правительственный законопроект, выражающий волю императора.

В чем была ошибка Столыпина?

Ошибки не было. Но за время прохождения законопроекта в палатах появилось совершенно новое обстоятельство, а именно, — отношение власти к этому законопроекту изменилось. Почему оно изменилось, будет видно из дальнейшего изложения. В этом и заключался кризис — слово, стоящее в начале этой главы.

Действительно, так и было. Отношение государя изменилось. Таким образом, Столыпин неожиданно для себя оказался в конфликте с короной, проводя неугодный монарху закон.

Так поняли все. И прежде всего сам Столыпин, который немедленно подал в отставку. Прощение об отставке написал и мой отчим Д. И. Пихно, но он не успел подать его государю. Разорвалась вторая бомба, и все объяснилось.

Оказалось, что два виднейших сановника Государственного Совета по назначению — шталмейстер Двора его величества, тайный советник Владимир Федорович Трепов и бывший министр внутренних дел статс-секретарь Петр Николаевич Дурново — накануне голосования в Государственном Совете попросили в спешном порядке аудиенции у государя. Они были немедленно приняты и высказали царю в продолжительной беседе свою точку зрения.

Они заявили, что Столыпин ошибается, проводя закон о выборном земстве. Их, то есть Трепова и Дурново, посетила депутация с Волыни в лице двух помещиков, которые заявили:

— На Волыни, мол, никто выборного земства не хочет, и все это выдумали Пихно, Шульгин и Столыпин.

На это будто бы государь сказал:

— Значит, меня еще раз обманули...

После этого Трепов и Дурново спросили:

— Как прикажете голосовать, ваше величество?

Царь ответил:

— Голосуйте по совести.

И с этим они были отпущены. На следующий день голосовали „по совести”, то есть провалили столыпинский закон.

Естественно, когда Столыпин узнал мнение государя, что его „еще раз обманули”, у него не было выхода, как подать в отставку.

Но... царь отставки Столыпина не принял.

Столыпина некем было заменить. Императрица Александра Федоровна не любила Петра Аркадьевича. Санкт-Петербург об этом много сплетничал. Например, однажды жена Столыпина, урожденная Нейдгард, устроила у себя зва-

ный обед. Приглашены были разные сановники, статские и военные. Был обычай, что в таких случаях снимали оружие, то есть оставляли шашки в передней. При оружии обедали только у царя. Но на этот раз у Ольги Борисовны Столыпиной военные не сняли оружия, а обедали при шашках и кортиках. Это нарушение этикета дошло до сведения царицы. И она будто бы уронила:

— Ну что ж, было две императрицы, а теперь будет три: Мария Федоровна, Александра Федоровна и Ольга Борисовна.

Этот анекдот, если это анекдот, бросает свет на атмосферу, окружавшую трон. Царствующая императрица Александра Федоровна не любила вдовствующую императрицу Марию Федоровну, мать Николая II. Такая антипатия нередко бывает между невесткой и свекровью. Но тут была и еще одна причина. Вдовствующая императрица ценила и поддерживала Столыпина. Она понимала, что он крупный государственный человек, сменивший С.Ю. Витте. Для Столыпина же преемника не было видно.

Когда Столыпин подал в отставку, Петрополь испугался, нахмурился, помрачнел. Три дня висела над Невой черная туча. Царь настаивал, чтобы Столыпин остался, а оскорбленный премьер не соглашался.

Газеты же воспользовались случаем, чтобы лягнуть копытом шатающуюся власть. Появилась некая поэмка, в которой изображался Борис Годунов. Изображался так, что выходил Столыпин.

И даже лидер партии кадетов, профессор Павел Николаевич Милюков заявил с кафедры Государственной Думы 15 (28) марта 1911 года под рукоплескания слова: „Благодарите нового Бориса Годунова за его меры!”

Словом, Петербург был взволнован и трепетно ждал, чем же все это разразится?

И разразилось ...

Я вообще ложился поздно, а в эти дни и подавно. Заботливый Назар принес мне утренний чай и разбудил меня. Когда я завтракал в постели, ко мне вошел Дмитрий Иванович*. Он был в халате, но с газетой в руках, и входя сказал:

— А и тяжелая рука у Петра Аркадьевича!

В его голосе было одновременно и одобрение и осуждение. Я понял. Столыпин победил, остался, но...

Но сделано это было в такой форме, в какой он, Дмитрий Иванович, оскорбленный не меньше Петра Аркадьевича, не сделал бы.

Что же случилось?

Случилось вот что. Государственный Совет и Государственная Дума были распущены на три дня. Когда в субботу 12 (25) марта 1911 года депутаты Государственной Думы собрались в Таврическом дворце, председатель А. И. Гучков, открыв в 11 часов 14 минут очередное заседание, объявил:

— Прошу выслушать именной высочайший указ Правительствующему Сенату: „На основании статьи 99 Основных государственных законов повелеваем: занятия Государственной Думы прервать 12 (25) сего марта, назначив сроком их возобновления 15 (28) марта 1911 года.

Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению сего надлежащее распоряжение.

На подлинном собственною его императорско-

* Д.И. Пихно. — Р е д .

го величества рукою подписано: Николай.

11 (24) марта 1911 года в Царском Селе.

Скрепил председатель Совета министров, статс-секретарь Столыпин”.

— Следующее заседание состоится во вторник 15 (28) сего марта в 11 часов утра, — сказал председатель. — Объявляю заседание Государственной Думы закрытым.

И все разошлись ...

А 14 (27) марта 1911 года высочайшим указом, скрепленным Столыпиным, закон о земских учреждениях в западных губерниях был проведен по статье 87 Основных законов.

Но еще в день подписания императором указа о роспуске Думы было вынесено высочайшее повеление об увольнении Трепова и Дурново в заграничный отпуск до 1 (14) января 1912 года за агитацию и резкую оппозицию в Государственном Совете законопроекту Столыпина.

— Для поправления здоровья? — спросил я отчима.

— Да, для поправления здоровья.

— Значит здоровье этих двух сановников расстроилось?

— Расстроилось.

— В чем это выразилось?

— В том, что они явились к своему монарху и говорили такое, что царь сделал вывод: „Значит, меня еще раз обманули!”

Из этого следует, что они, эти члены Государственного Совета, как говорится, „на голову заболели”. Когда царь это понял, он послал их за границу лечиться, — авось отойдут!

Это высочайшее внимание к здоровью В.Ф. Трепова и П.Н. Дурново, конечно, было жестом, удовлетворившим Столыпина. Что он „обманул царя”

— это, оказывается, сказали двое полубезумных старичков. Обвинения, произнесенные сумасшедшими, ничего не стоят. Однако один из них, В.Ф. Трепов, не подчинился высочайшему повелению и подал прошение об отставке. 29 апреля (12 мая) 1911 года его отстранили от службы, после чего он занялся частной деятельностью.

Итак, закон о куриальном земстве был проведен по 87-й статье Основных законов, для чего палаты и были распущены на три дня. По истечении этого срока они возобновили свою работу. Всякий проведенный по 87-й статье закон правительство было обязано внести на рассмотрение палат в течение месяца. Но в данном случае получилось иначе.

В то самое роковое число, 11 (24) марта, когда Государственный Совет отклонил закон о земстве и в Царском Селе был подписан высочайший указ о роспуске в связи с этим обеих палат, в Государственной Думе, перед закрытием, в шесть часов вечера семьдесят восьмого заседания председательствующий князь В.М. Волконский объявил:

— Позвольте доложить, что поступило законодательное предложение за огромным числом подписей, — я затрудняюсь сосчитать, около полутора ста ...

(П. Н. Крупенский, с места: „Двести подписей”.)

... о применении положения о земских учреждениях к губерниям: Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и Подольской. Угодно Государственной Думе передать это законодательное предложение в Комиссию о местном самоуправлении для рассмотрения по вопросу о желательности?

После проведенной баллотировки, под аплодисменты справа и в центре, предложение председа-

тельствующего было принято.

Таким образом, Государственная Дума снова приступила к рассмотрению уже принятого закона еще до того, как он был проведен по 87-й статье.

Но тут было сказано много горьких слов.

Это произошло уже на первом вечернем заседании Думы после возобновления ее работы, то есть 15 (28) марта 1911 года, когда большинством были приняты четыре запроса Столыпину („четыре столба, или кита”, — как я тогда выразился), от партий: октябристов, народной свободы, прогрессистов и социал-демократов — о незакономерности издания высочайших указов 11 (24) и 14 (27) марта о перерыве заседаний законодательных учреждений и введении на основании статьи 87 земства в шести западных губерниях.

Даже октябристам не понравился „нажим на закон”. Их лидер А.И. Гучков в знак протеста против роспуска Думы покинул на этом же заседании пост председателя. Верными Столыпину в беде оказались только часть правых и мы, „русские националисты”.

Фракция предложила мне расхлебывать кашу. И я пошел на „Голгофу”, как называли кафедру Государственной Думы. И защищал Столыпина как мог, не за страх, а за совесть. Однако защищал слабо, то есть имел плохой резонанс. В заключение своей речи я сказал:

— ... Здесь велась продолжительная атака на П.А. Столыпина. Я не призван защищать его, и вам поставлю только один вопрос.

Этот человек взял на себя большую тяжесть: на нем висит роспуск первой Думы, на нем роспуск второй Думы, на нем закон 3 июня, на нем закон 9 ноября, на нем начатая борьба, тяжелая борьба с беспорядками в высшей школе. Человек перегружен... (Смех слева.) — ... может быть, толкнуть его

можно, может быть, вы его толкнете, может быть, он упадет. Но вы мне ответьте: кто подымет тяжесть?

Аплодисменты раздались только на скамьях националистов. Правые молчали. Но среди других мои слова вызвали бурную реакцию.

Наиболее резко критиковал меня армянин, депутат от Области Войска Донского, врач и юрист, присяжный поверенный, кадет Моисей Сергеевич Аджемов.

— Господа, — сказал он, — вот выступает модная ныне группа, которая как бы заявляет себя группой правительственной. Выступает новоявленный ее лидер, депутат Шульгин, и что же мы слышим? — главное, что здесь было сказано, все было направлено против П.А. Столыпина. Он, по словам депутата Шульгина, „перегружен“.

Чем же он перегружен? Перегружен ли он великими деяниями на пользу своей родины, перегружен ли он великими действиями, заслуживающими определенной оценки в наших глазах? Перегружен ли он тем, за что мы должны бы сказать: в такую минуту надо его поддержать. Но сам депутат Шульгин стыдливо перечислял перегружавшие его обстоятельства и действительно первородные грехи этого человека, которые не дают ему возможности знать, где надо остановиться.

(Рукоплескания слева.)

— Он перегружен, говорит депутат Шульгин, роспуском двух Дум; он перегружен законом 3 июня, который есть акт государственного переворота; он перегружен актом 9 ноября, который — по-видимому, и с точки зрения депутата Шульгина, — был незаконно проведен по статье 87, раз он его ставит на одну доску с законом 3 июня; он перегружен, наконец, сегодняшним днем, и мы надеемся, что этот груз будет такой, который понесет его ко

дну.

Эти пророческие слова, покрытые рукоплесканиями слева, были произнесены с кафедры Государственной Думы за пять с половиной месяца до смерти Петра Аркадьевича. А дальше М.С. Аджемов продолжал так:

— Мы не можем закрывать глаза на то, что за кулисами этих стен происходили события, отклики которых доходили и до вас. Вы помните, что дело началось с подачи об отставке. Эта отставка испрашивалась немедленно после отвержения Государственным Советом законопроекта о введении земства в шести западных губерниях — и что же? Мы знаем о больших колебаниях, носились слухи, шли разговоры — падали одни, возвышались другие, — и что же? В самый последний момент мы узнаем, что Столыпин остается, но он остается ценой той компенсации, которую ему дадут.

Господа правые, что же вы молчите, — вы, которые всегда бряцаете своим монархизмом? Что же вы не придете и не скажете, что пред глазами всей России колеблются этим человеком те принципы, которые вы защищаете, бессилие которых этой компенсацией было в полной мере подчеркнуто.

(Рукоплескания слева).

— Нельзя простираť свое угодничество до предела забвения своих принципов ...

Немало упреков по моему адресу высказал также представитель фракции прогрессистов, служивший чиновником особых поручений при варшавском губернаторе Гурко и министре внутренних дел Плеве, гласный саратовской городской думы и саратовского уездного земства, граф Алексей Алексеевич Уваров:

— ... Я считаю, — сказал он, — что так как правительство тут отсутствует, то господин Шульгин является в данное время правительственным ора-

тором... Я должен сказать Шульгину: я был лично всегда против закона о западном земстве...

(Смех и рукоплескания слева.)

— Но я думаю, господа, что вам (обращаясь вправо) до западного земства совершенно нет никакого дела, и до статьи 87 нет никакого дела; вы просто бессловесно, слепо, преданы тому лицу, которое имеет власть.

В этом отношении я вам напомним следующее: в начале прошлого столетия был граф Аракчеев, у него на девизе было написано: „без лести предан”. Да, без лести предан он был Александру I, а вы, господа, преданы П. А. Столыпину, это так, но слова „без лести” вы не можете написать на вашем девизе.

(Голос слева: „Браво!”)

— ... Тем, которые знают историю, я напомним... один эпизод из жизни Миниха и Бирона. Когда Миних сам был сослан в Сибирь и ехал в Пельшь, он в Казани встретил одного из своих прежних сосланных — Бирона. Они даже, кажется, на Казанском мосту раскланялись. Не случится ли то же самое когда-либо и со Столыпиным и Дурново?

(Смех слева.)

— ... В данное время, если вы будете поддерживать Столыпина, то вы сами себя уничтожите. Зачем вы тут сидите, никому не нужные? Оставьте одни манекены, которые на все, что им будет говорить Столыпин, будут говорить: да.

(Рукоплескания слева.)

— Поэтому тем лицам, которые были терпимы во времена Анны Иоанновны, — тем лицам, которые тогда, быть может, играли правительственную роль, теперь не место здесь. И нам остается только сказать им то же самое, что говорил представитель нашей фракции: в отставку!

(Рукоплескания слева.)

Но наибольшее впечатление на этом заседании Думы произвела речь В. М. Пуришкевича. Несомненно, что в истории России не забудется имя этого заблуждавшегося и мятущегося, страстного политического деятеля последних бурных и трагических годов крушения империи. А эта его речь показывает, насколько потрясены были устои шатающейся власти актом 14 (27) марта 1911 года.

Кроме того, она объясняет психологически, почему Пуришкевич, будучи ярким монархистом, пошел все же на убийство Распутина, которого боготворила царская семья.

Пуришкевичу бурно аплодировали слева, но это его не смутило и не остановило. Выступление его было настолько неожиданно, что даже старообрядец, крестьянин села Мельница, депутат от Витебской губернии М.К. Ермолаев недоуменно сказал:

— Когда взошел на трибуну господин Пуришкевич, я не знал, кто это говорит: говорит ли это Пуришкевич, или это говорит Гегечкори. Мне кажется, что здесь просто смешение языков!

Привожу наиболее характерные места из речи Пуришкевича, как документа, отражающего смятение и потрясение умов кризисом власти:

— Господа народные представители. Я буду краток, ибо нахожу, что тот момент, который мы переживаем сейчас, настолько серьезен и так тяжело отзывается на русской общественной жизни, что обилием слов его не опишешь.

Я говорю не от фракции правых, и вся ответственность за то, что я намереваюсь здесь сказать, лежит на мне; я сам могу быть фракцией и, как таковая, я от себя и говорю.

(Смех, голоса слева: „Браво!“)

— Господа, я был страстным противником закона о проведении земских учреждений в тех губерниях, в которых он вводится ныне...

Помимо закона, данного государем, о котором мы рассуждать не можем, есть действия председателя Совета министров, и об этих действиях я и хочу говорить, ибо в данный момент только холоп может молчать после того, что сделано в отношении нас и, в частности, скажу я, как член этой палаты, и меня. Председатель Совета министров низринул авторитет и значение Государственного Совета.

Привыкший к шумным успехам в стенах Государственной Думы после своих блестящих, хотя и полных парадоксов речей (смех справа и слева), привыкший к своим успехам, заранее подготовленным в Государственном Совете, председатель Совета министров П.А. Столыпин, уязвленный тем, что он говорил о законе введения земских учреждений без успеха, решил свести личные счета с членами Государственного Совета по назначению. Пользуясь своим влиянием, он искажил дух и смысл их речей и позволил себе нанести этим самым косвенный удар Государственному Совету, дискредитируя на многие годы значение этого высокого, авторитетного учреждения в пределах империи.

В такой момент, когда требуется наибольшее напряжение правых сил империи, в момент, когда империя находится накануне, может быть, глубоких внешних и внутренних потрясений, председатель Совета министров из чувства личной, — не государственного характера, а личной — мести, позволил себе сосчитаться, крича всюду о законности, с председателем правых Государственного Совета П.Н. Дурново...

(Шум. Возгласы в правом центре: „Ой, ой, ой!“)

— Националисты правой партии кричат: „Ой, ой, ой!“, но господа националисты прятались по норам в годы смуты, тогда, когда П.Н. Дурново, которому Россия фактически обязана своим успокоением,

работал как вол над разбитием революционных сил и добился в этом отношении блестящих результатов.

(Шум слева.)

— Не тот националист, который кричит о том, что он национален, а тот националист истинный, который работает в духе сохранения исконных русских традиционных начал. Во что желает обратиться председатель Совета министров Государственный Совет? В свою канцелярию? Но он никогда добиться этого не сможет, ибо утрачивается всякое желание работать, когда знаешь, что можешь работать под известной ферулой, под палкой председателя Совета министров, а если председателю Совета министров не угодил, то, пожалуйста, вон, уезжайте за границу.

Да, господа, сегодня днем, в то время, когда мы занимались, мне стало известным, что П.А. Столыпин удостоил П.Н. Дурново письмом, где говорит, что вы можете выезжать за границу, так как вы нездоровы, и тот ответил: я здоров и в России остаюсь. (Смех.)

— Господа. П.А. Столыпин, который говорил здесь неоднократно о законности, сейчас приводит нас ко временам не только не пахнущим свободой 17 октября, не ко временам Бирона даже, но к гораздо худшим, когда неугодных людей выдавали головой тем, которые требовали этого. И П.А. Столыпин, считая для себя невозможным бороться с П.Н. Дурново силой своих убеждений, хотя поставлен выше него, потребовал выдать головой себе своего политического противника, одного из самых выдающихся, сильных, мощных и талантливых людей России.

(Шум.)

— Вот что сделал Столыпин. Представитель фракции националистов В.В. Шульгин обратился к вам, защищая здесь роль П.А. Столыпина, говоря: „Вы сгоните, вы повалите его, но кем замените?“

На это отвечу я здесь националистам: гнать мы права не имеем, мы на царские права не посягаем, заменять мы также не имеем права, но мы полагаем, что жалка была бы та страна, жалок был бы тот народ, у которого только на одном лице зиждилась бы надежда на спасение и на оздоровление России.

Слава Богу, Российская империя громадна, и я позволю себе думать, что и помимо П.А. Столыпина есть еще люди, которые объединят в смысле оппозиционном Государственную Думу: в такой исторически тяжелый момент в жизни Российской империи.

Я утверждаю, что этим шагом председатель Совета министров, который выказывает симптомы личной мелкой мести какого-нибудь уездного администратора, а не лица, стоящего во главе правительства империи, что этим самым шагом он наносит сильнейший удар не только престижу тех учреждений, в которых мы работаем, но что он наносит сильнейший удар тому, чему мы служим, чем мы живем, на что надеемся и во что мы верим...

Я говорю, что самую печальную страницу в русскую историю за последнее время вписал в данный момент председатель Совета министров; который наносит этим непоправимый удар престижу государственной власти.

При Павильоне министров в Таврическом дворце безотлучно находился чиновник, которого на думском жаргоне называли „заведующий министрами“. К нему обращались члены Государственной Думы по всяким делам. Это был действительный

статский советник Лев Константинович Куманин, чиновник особых поручений при председателе Совета министров.

Из так называемого Полуциркульного зала уходила застекленная веранда. С наступлением темноты она задергивалась зеленого бархата занавесью, чтобы снаружи не было видно министров, идущих в зал заседаний из своего павильона. На Столыпина было достаточно покушений. Стрелять же по стеклянной галерее из Таврического сада было возможно. Из этих соображений, вероятно, и была занавесь — во всю длину галереи.

В кабинете Куманина хранились все русские и не русские законы, энциклопедические словари и прочие справочники.

Этот высокопоставленный чиновник отличался чрезвычайной вежливостью, но притом хранил и некую холодную недоступность. Я никогда не видел улыбки на его лице. Он был, как говорится, застегнут на все пуговицы, — в переносном смысле, а в действительности не застегивал ни одной, потому что длинный черный сюртук, который он неизменно носил, застегивать не полагалось. Отвороты этого сюртука были обшиты черным же шелком, а жилет оторочен снежно-белой тесьмой. Он носил крахмальные воротнички и галстук, заколотый золотой, но скромной булавкой. Если бы он не горбился слегка, его можно было бы назвать „радостью портных”. Он одевался, как Столыпин, то есть без щегольства, но изящно.

Куманин работал сверх сил, но никому не давал этого заметить. Здоровье — вещь интимная, а быть в интимных отношениях с кем бы то ни было на службе не полагалось.

Он подошел ко мне:

— Петр Аркадьевич просит вас посетить его.

Кроме меня, были приглашены П.Н. Балашев и

еще кто-то, не помню.

Петр Николаевич Балашев был председателем нашей фракции „русских националистов“. После „октябрей“ мы были самые сильные численно. Балашев не выступал с кафедры. Думаю, что он не чувствовал в себе ораторских талантов. Но председателем фракции он был хорошим: вникал к себе уважение, был авторитетен.

Человек сильной воли, он был крайне мягок в обращении, но руководил фракцией твердо. Невидимо для посторонних он был одним из устоев Государственной Думы.

Созвездие — Столыпин, Гучков, Балашев — было „поясом Ориона“. Все, что предлагалось Столыпиным, если с ним были согласны Гучков и Балашев, имело большинство и проходило через Думу.

Прием состоялся поздно ночью, что было в обычае. Столыпин действительно сжигал свою жизнь на „алтаре отечества“. Когда он вскоре был убит, ему не было пятидесяти лет, но вскрытие показало, что главные жизненные органы уже были разрушены. Он ложился в четыре часа утра, начиная работу в девять. Поэтому-то важные приемы были поздней ночью.

Когда мы вошли, Петр Аркадьевич прежде всего обратился ко мне. Он протянул мне руку, искаленную не знаю при каких обстоятельствах, но еще вполне способную на крепкое рукопожатие. А я в это мгновение подумал, что это та самая рука, про которую мой отчим, Дмитрий Иванович, сказал: „А и тяжелая рука у Петра Аркадьевича!“

А Петр Аркадьевич обратился ко мне: „Очень вам благодарен, что вы меня защищали. Но меня нельзя защищать“.

Затем он продолжал, обращаясь ко всем:

— То, что я сделал, конечно, „нажим“ на закон. Статья 87 Основных законов предназначена для бо-

ее продолжительных сроков. Но это не указано в ней. Поэтому формально я прав, я не нарушил Основных законов. Но только формально. Если добросовестно толковать намерения законодателя, то мое толкование — именно „нажим на закон”. И защищать меня можно, но защитить нельзя.

Последнюю фразу он снова обратил ко мне, смягчая ее благодарной улыбкой.

Потом продолжал, обращаясь ко всем. Это была защитительная речь, обращенная поверх наших голов, — ведь мы его не судили, а защищали:

— Но что же мне было делать? Вы помните, конечно, что не очень давно государь принял депутацию, состоящую исключительно из крестьян. И, между прочим, обращаясь к западным крестьянам, царь сказал: „У вас будет земство”.

Эти слова слышала вся Россия, так как они были обнародованы. Можно ли так играть царским словом? Царь обещает, а царские сановники отменяют. Это значит трясти трон. Я не мог оставить этого без отпора. Иначе я присоединился бы к тем, что подрывают авторитет монарха „ведением и неведением”.

Я отлично понимаю, что мой собственный авторитет при этом пострадал. „Нажим на закон” мало кому пришелся по сердцу, а мне самому меньше, чем всем другим. Но что такое авторитет Столыпина, в конце концов? Сегодня Столыпин правит, завтра его нет. Но царь остается. После Бога царь есть тот авторитет, которым держалась до сих пор Россия. Колебать доверие к царю — это верный метод и путь, ведущий к разрушению наших устоев.

Западные крестьяне, которым царь обещал земство, по-видимому, полагали укрепить свои позиции в Думе, где в то время они были пред-

ставлены семнадцатью депутатами из общего количества в шестьдесят один человек. Однако реформа, проведенная Столыпиным путем „нажима“ не дала для них ожидаемых результатов. В четвертую Думу шесть западных губерний смогли послать лишь четырнадцать крестьян.

Что последовало дальше, моя память не сохранила. Вероятно, ничего существенного. Ведь для того Петр Аркадьевич и просил нас приехать к нему, чтобы, так сказать, облегчить душу перед друзьями, от него не отступившими в трудную минуту.

Однако, надо признать, что, совершив „нажим на закон“, Петр Аркадьевич переиграл. Пожалуй, было бы лучше дать острастку В.Ф. Трепову и П.Н. Дурново за неверное информирование царя и не спешить так с западным земством. Правительство имело право внести закон вторично в Государственную Думу через некоторое время. Это не было бы так эффективно, но более конституционно. И авторитет Столыпина не пострадал бы, а это было важно. Очень важно.

А тогда председатель Совета министров ждал, когда улягутся в стенах Таврического дворца разбушевавшиеся страсти, и только 27 апреля (10 мая) 1911 года выступил с ответом на четыре запроса по поводу применения 87-й статьи и роспуска на три дня законодательных палат. Он заверял Думу, что этот акт был не умалением, а укреплением прав народного представительства.

Однако народные представители с этим не согласились и подавляющим большинством 203 голосов против 82 приняли на этом заседании формулу перехода к очередным делам, признававшую нарушение статьи 87, действия же правительства — незаконными, а его объяснения — неудовлетворительными.

„Нажим” не ускорил законодательную процедуру с западным земством. Хотя положение о земстве и было снова внесено в Государственную Думу, она так и не обсуждала его, и судьбу этого законопроекта пришлось решать уже четвертой Думе.

О ПОВЕСТИ Е. ТЕРНОВСКОГО "ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ"

Проживающий в Париже с 1975 г. писатель Е.С. Терновский только что выпустил в свет вторую повесть — „Приемное отделение“*. Местом действия он снова избрал Москву наших дней. В повести он раскрывает — не только для зарубежных, но и для отечественных читателей — новые аспекты внешней и внутренней жизни человека, находящегося в условиях советской системы.

Правда, за последние годы Юрий Трифонов в своих произведениях многое поведал нам о сегодняшней Москве, о верхушке советских мещанских кругов, о тех слоях советских жителей, которые живут, заботясь лишь о материальном благополучии. Но эти — подвергшиеся цензуре — произведения похожи на электрокардиограмму, где запись верхних и нижних ритмических вершин старательно срезана. Книги Трифонова — в особенности „Дом на набережной“ — ярче прочих произведений советской литературы свидетельствуют о классовости советского социалистического государства, и все же полноты, объемности и широты охвата действительности в книгах Трифонова нет. Для воплощения этой полноты нужна свобода, свободная русская литература. Сила Терновского — в достоверном и убедительном изображении влияния сегодняшней советской системы на людей разных общественных слоев.

Развивается действие повести в приемном отделении московской больницы. Профессиональный опыт автора (будучи исключенным из института, Терновский некоторое время работал в качестве санитаря) придал этой повести яркий реалистический колорит. Но этот же опыт и оформил внутреннюю позицию автора. Перед нами — не книга о врачах и не „медицинский роман“, а повесть о самых обычных больных и их близких.

Два человека привозят своих жен в больницу. Таким

* Е. Терновский. Приемное отделение. — „Грани“ № 111/112; отдельное издание — Франкфурт-на-Майне: „Посев“, 1979.

старым эпическим зачином — темой прибытия — начинается повесть. Один из них — старший преподаватель Игорь Михайлович Лютченко — представитель верхушки среднего слоя советского общества, второй — Дмитрий Арсеньевич Горичев — сельский житель, существующий на скудную пенсию. Жену старшего преподавателя, Веру Андреевну, обстоятельства приневольно попали в рядовую (хотя и не просто „районную“) московскую больницу, пребывание в которой она считает ниже своего достоинства, т.е. своего общественного уровня, так как по иерархии социалистической системы ей полагалось бы лежать в спецбольнице, пусть не в кремлевской, но все же в закрытой (т.е. в больнице привилегированного типа), где ей было бы обеспечено и лечение, и питание, и отношение медперсонала — не в пример лучшие.

Жена сельского пенсионера — Мария Ксенофоновна — при смерти, и ее муж не находит слов, чтобы выразить свое счастье: наконец-то ее взяли в больницу, да еще в самой Москве! — и это после стольких лет ожидания! Но и для этого „счастья“ нужна была особая удача: по больничным правилам, ее направили в другую больницу, перегруженную до отвала, оттуда ее, умирающую, погнали обратно, в село, после чего муж привез ее сюда. Но и здесь ее не оставили бы, если бы не заступничество старшего преподавателя Лютченко.

Начальная ситуация в приемном отделении вскрывает не только ужасающее социальное неравенство, существующее при советской системе. Эта ситуация также показывает, почему, вопреки неверным планировкам и показухе, многое в Советском Союзе продолжает функционировать: дело в „блате“, в связях. Вопреки установленным правилам — не из сострадания, а лишь по просьбе Лютченко — врач принимает больную, зная об общественном весе этого человека, обладающего связями, которые для него, врача, могут быть и полезны, и опасны. И вот уже через несколько часов врач пытается использовать возможности Лютченко, чтобы перевести своего сына на очное отделение вуза.

От читателей и от действующих лиц повести поначалу утаено, почему Лютченко помог умирающей больной. Повесть Терновского развивается аналитически, внутренний облик действующих лиц проясняется шаг за шагом, события развиваются постепенно. Например: приглашение Горичева в гости к своему покровителю Лютченко, смерть жены Горичева, его встреча с незнакомыми пропойцами в кафе и

многое иное; с другой стороны — переживания избалованной жены Лютченко, использование ее мужем своих связей для быстрого перевода Веры Андреевны в больницу, соответствующую ее общественному положению.

Выявление характеров действующих лиц повести, их поведения внутри советской системы в разных ситуациях углубляют наше понимание советской действительности. Так, в беседе Лютченко и Горичева проступает резкий контраст между положением зажиточных москвичей и провинциалов, жителей сельских местностей, куда едва ли доставляют самые необходимые продовольственные продукты. В эту беседу вторгается сосед Лютченко, стоящий еще выше по занимаемому положению, а следовательно, и по уровню жизни. Этот сосед относится к деревенскому жителю с агрессивным высокомерием. В забегаловке Дмитрий Арсеньевич сталкивается с незнакомыми ему пьяницами — один из них только что вышел из вытрезвителя, и его ненавязчивый рассказ дает нам представление о советской милиции; другой громогласно восхваляет времена Сталина, будучи неспособен понять, что времена эти миновали.

Когда Горичев, после смерти жены, сообщает об этом ее родственнице, то прежде всего, через боль утраты, он, вспоминая, начинает понимать, как мучил свою жену всю их совместную жизнь. Жена Горичева была верующей, он же, из страха очутиться в опасном положении и ненароком нарушить весьма относительно благополучное течение их нынешней жизни, запрещал ей посещать богослужения. В этом эпизоде Терновский кратко освещает нам положение катакомбной Церкви, мужество верующих и их отчаянное положение в государстве воинствующего атеизма...

Постепенно расширяется круг персонажей повести. Новые лица появляются в поле зрения читателя: директор школы, который продает уголь „налево”, а на ворованные деньги покупает себе мебельные гарнитуры; истопник, хранящий у себя множество портретов Сталина и не желающий отказываться от своего кумира; соседка-стукачка, с которой приходится общаться. Индивидуально окрашены и эпизодические персонажи, связанные с ходом действия повести: присланный по суду на работу в больницу санитар Юрка; фельдшерица, большая охотница до оплачиваемых эротических утех; буйствующий наркоман, которого грубо усмиряют в больнице.

Основу сюжетной линии составляет медленное выявление волею судеб существующей связи между Горичевым и

Лютченко. По мере развития повести углубляется наше понимание этих характеров и само действие усложняется тем, что Терновский, великолепно умея придавать редкую убедительность своим персонажам, показывает их в каждой новой сцене с иной стороны, и читатель испытывает к ним всегда либо живую симпатию, либо антипатию, все более узнавая о них и нередко, по ходу действия, меняя свое мнение или оценки. Тут сказывается действенное влияние Достоевского: немногие писатели умеют так постепенно, слой за слоем, показывать человека — „объемно”, с разных сторон.

В повести нет главного героя. Старший преподаватель Лютченко, с самого начала своей жизни старавшийся ступать, никогда не быть в центре внимания, не иметь собственного мнения, и таким образом продвигавшийся в ряды „вышестоящих товарищей”, заурядный советский обыватель, — в сущности, такое же по значительности лицо в повести, как и Горичев, который лишь раз, во время учебы в институте, рискнул разоткровенничаться, после чего с великим трудом ускользнул от лагеря; всю остальную жизнь он не переставал оглядываться на свою разрушенную судьбу. Между ними стоит женщина, которая умирает вскоре после того, как ее взяли в больницу. Ее жизнь оказывается связанной с жизнью каждого из них. И в технике рассказа ей отводится особая роль: она не произносит ни слова, едва ли читатель запоминает хоть один ее жест; но, будучи невольным объектом настоящего времени, она становится действенным лицом — в том смысле, что постоянно вызывает в душах обоих мужчин их прошлое. Она напоминает о невозможности предать забвению то, что когда-то в жизни было совершено, т.е. о неуничтожимости всякого деяния, об ответственности, которую каждый человек до скончания века несет за свои дела.

Новая повесть Терновского более уравновешена, чем первая, еще отражающая творческие поиски писателя. Она основывается на той же серьезности подхода к жизни и людям, общечеловеческая правда в ней соединена с богатой информацией о советской действительности. Русская литература обогатилась хорошей книгой.

Вольфганг Казак

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ

Е ф и м о в Игорь. Без буржуев. — Франкфурт-на-Майне: „Посев“, 1979. 350 с.

Die Kirchen und das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Evangelischer Teil. Bearbeitung: Joseph S c h n u r r. — Stuttgart: AER Verlag. Landmannschaft der Deutschen aus Russland, 1978. 400 S.

N a g Martin. To nordmenn hos Tolstoj. — Universitet Oslo. Slavisk-Baltisk Institut. Meddelelser № 20, 1979. 34 S.

П о к р о в с к а я Н. А. Родине. Сборник стихотворений. — США, 1979. 62 с.

R i g g e n b a c h Heinrich. Michail Bulgakovs Roman „Master i Margarita“. Stil und Gestalt. — Slavica Helvetica. — Bern: Verlag Peter Lang, 1979. 197 S.

С е д ы х Андрей. Далекие, близкие. Третье издание. — 1979, 282 с.

С о с н о р а Виктор. Летучий Голландец. — Франкфурт-на-Майне: „Посев“, 1979. 248 с.

Т е р н о в с к и й Евгений. Приемное отделение. — Франкфурт-на-Майне: „Посев“, „Грани. Библиотека“, 1979. 224 с.

Ф и л а н д р о в В. Джульетта из Генуи. Рассказы и повести. — „Максим“ — Франция, 1979. 158 с.

Ш а х о в с к а я Зинаида. В поисках Набокова. — Paris: „La Presse Libre“, 1979. 167 с.

СОДЕРЖАНИЕ

с № 111/112 по № 114

ПРОЗА

- БЕЛЯКОВ Георгий
Иванова топь. Повесть, 113
- БОКОВ Николай
Письмо для Розенкранца. (Рассказ), 111-112
- ДЫШЛЕНКО Борис
Антрну. (Повесть), 114
- ПАВЛОВА Муза
Пулька. Маленькая пьеса для балагана, 111-112
- ТЕРНОВСКИЙ Е (вгений)
Приемное отделение. (Повесть), 111-112

ПОЭЗИЯ

- АНДРЮШИН В.
Ксения Годунова. — Легенда о колоколе, 113
- ВЛАДИМИРОВА Лия
Девять стихотворений из цикла „Москва 1970-1971”: Снилось мне, что бабы голосили... и др.;
Из поздних стихов: И не страшно ли, и не трудно... и др., 114
- ВОГАК Ростислав
Время странствий (двойной венок), 113
- ВОЗНЕСЕНСКАЯ Юлия
Восемь стихотворений из цикла „Книга разлук”:
В доме твоём пустом... и др., 111-112
- ИОФЕ Юрий
Девять стихотворений из книги „Итак итог”:
Атлантида гниет на дне... и др., 111-112
- СОСНОРА Виктор
Шесть стихотворений из книги „1973”: Ворон на море и др., 111-112
- ХАНЧЕВ Веселин
Девять стихотворений: Рассвет и др., 113

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

ЛЕВЯТОВ Валерий

Как я пришел к Богу. (Писатель — о себе), 111-112.

ОПУЛЬСКИЙ Альберт

Памятник Гоголю, 111-112

РЫСКИН Григорий

Педагогическая комедия. Записки советского учителя, 113, 114

ХЕНКИН Кирилл

Охотник вверх ногами. Отрывок из книги, 114

ДОКУМЕНТЫ

ДОМБРОВСКИЙ Юрий

Письмо Сергею Антонову, 111-112

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ГОРЧАКОВ Н. А.

„На мансардах”. (Из воспоминаний), 111-112

ИОСМАН Шалом

Из дневника. (Об Ипатьевском доме), 111-112

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНАСТАСИЙ (Грибановский), митрополит

Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви, 113

КЛАССИКА И МЫ. Дискуссия 21 декабря 1977 г.

в ЦДЛ, 114

ОПУЛЬСКИЙ Альберт

Болгарский поэт Веселин Ханчев, 113

ПАРАМОНОВ Борис

Буква „Живот”. Молодой Заболоцкий, 111-112

РАЙС Эммануил

О Борисе Поплавском, 114

УМРИХИНА Светлана

Смерть Анны Карениной в свете структуры романа, 111-112

ШЕНФЕЛЬД И (горь)

Круги жизни и творчества

Юрия Домбровского, 111-112

ИСКУССТВО

ЯНЧЕВСКАЯ Л.

О русском балете, 111-112

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

ИВАНОВ Борис

Современное христианство. Из доклада, 113

Экзистенциализм?.. мимо, 114

ПАЗУХИН Е (вгений)

Неохристианство, 113

ПОСПЕЛОВСКИЙ Д (митрий)

Наука, философия и идеология, 114

Русский национализм, марксизм-ленинизм и судьбы России, 111-112

СТОЛЫПИН Аркадий

Лев Троцкий — первый советский дипломат, 111-112

ЧЕРНЯВСКИЙ Владимир

Судебная ошибка? (К 100-летию „дела Засулич”), 113

О РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

АВТОРХАНОВ А (бдурахман)

У истоков ленинской деспотии, 113

БРЕЙТБАРТ Е (катерина)

Местное самоуправление. Ст. I. — Излюбленные люди общества, 111-112

О русском марксизме. (К статье А.Авторханова „У истоков ленинской деспотии”), 113

СТОЛЫПИН П (едр) А (ркадьевич)

Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности. 113

ШУЛЬГИН В (асилий) В (итальевич)

Годы. Воспоминания члена Государственной Думы, 114

БИБЛИОГРАФИЯ

Битов Андрей

Пушкинский дом. — Энн Арбор: Ардис, 1978.
(Е. Брейтбарт), 111-112, с. 541

- Войно-Ясенецкий Лука, архиепископ
 Дух, Душа, Тело. — Брюссель: „Жизнь с Богом”,
 1978. (В. Флеров), 113, с. 315
- Гусаров Владимир
 Мой папа убил Михоэлса. — Франкфурт-на-Майне:
 „Посев”, 1978. (Юрий Иофе), 113, с. 307
- Терновский Е.
 Приемное отделение. — Франкфурт-на Майне:
 „Посев”, 1979. (Вольфганг Казак), 114, с. 276
- Ходасевич В.Ф.
 „Некрополь” — Париж: ИМКА-Пресс, 1976.
 (В. Володин), 111-112, с. 529
- „Эхо”. О журнале „Эхо”. (Р. Петров), 111-112, с. 533
- Kasack Wolfgang
 Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR. 3. Aufl. —
 Boppard: Harald Bold Verl. 1978. (С. К.), 111-112,
 с. 539
- Smith Hedrik
 The Russians. — Sphere books 1976. (И. Ефимов-
 Московит), 113, с. 299

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН АВТОРОВ

- | | |
|---|------------------------------------|
| Авторханов А., 113 | Домбровский Юрий,
111-112 |
| Анастасий (Грибанов-
ский), митр., 113 | Дышленко Борис, 114 |
| Андрюшин В., 113 | Ефимов-Московит И., 113 |
| Беляков Георгий, 113 | Иванов Борис, 113, 114 |
| Боков Николай, 111-112 | Иосман Шалом, 111-112 |
| Брейтбарт Е., 111-112, 113 | Иофе Юрий, 111-112, 113 |
| Владимирова Лия, 114 | Казак Вольфганг, 114 |
| Вогак Ростислав, 113 | Левятов Валерий, 111-112 |
| Вознесенская Юлия,
111-112 | Опульский Альберт,
111-112, 113 |
| Володин В., 111-112 | |
| Горчаков Н.А., 111-112 | |

Павлова Муза, 111-112
Пазухин Е., 113
Парамонов Борис, 111-112
Петров Р., 111-112
Поспеловский Д., 111-112,
114

Райс Эммануил, 114
Рыскин Григорий, 113, 114

Соснора Виктор, 111-112
Столыпин Аркадий,
111-112

Столыпин Петр А., 113

Терновский Е., 111-112

Умрихина Светлана,
111-112

Флеров В., 113

Ханчев Веселин, 113
Хенкин Кирилл, 114

Чернявский Владимир, 113

Шенфельд И., 111-112
Шульгин, В. В., 114

Янчевская Л., 111-112

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тематический указатель охватывает только те материалы, которые посвящены творчеству, мировоззрению или жизнеописанию людей.

Бельский И., 111-112, с.401

Гоголь, 111-112, с. 313
Григорович Юрий, 111-112,
с. 399

Домбровский Юрий, 111-
112, с.378, с. 518

Заболоцкий Николай,
111-112, с. 332
Засулич Вера, 113, с.257

Кони А. Ф., 113, с. 257

Левятов Валерий, 111-112,
с. 318

Мальвов Конст. Ник.,
111-112, с. 265

Поплавский Борис, 114,
с. 156

Пушкин, 113, с. 154

Столыпин П. А., 114, с. 251

Терновский Евгений,
114, с. 276
Толстой Лев, 111-112, с.378
Троцкий Лев, 111-112,
с. 448

Циолковский Конст. Эд.,
111-112, с. 330

Ханчев Веселин, 113, с. 95

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н.Б. Тарасова
Ответственный секретарь Д.А. Мусина

Адрес редакции журнала „Грани”:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheidweg 15,
D 6230 Frankfurt/M. 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

*Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь **ДЛЯ РОССИИ** — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:*

**А. Kandaurow c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»

- Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70

Редакция

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера:

в издательстве — 48 н. м.

через магазины — 60 н. м.

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

и

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ

В издательстве: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 75 н. м.
«Посев» (12) — 60 н.м.

Через магазины: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 90 н. м.
«Посев» (12) — 72 н. м.

Доплата за воздушную доставку:

«Посев» и «Вольное слово» зона I — 24 н. м.

зона II — 36 н. м.

«Посев» зона I — 20 н. м.;

зона II — 30 н. м.

I зона — Северная Америка и Ближний Восток

II зона — Южная Америка и Дальний Восток

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

«ГРАНИ» — 15 н. м. «ПОСЕВ» — 6 н. м.

«Вольное слово» — 6 н. м.

В США и КАНАДЕ, при теперешнем курсе доллара
около двух марок, следует цены, для определения их
в местной валюте, делить на два

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2412755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.